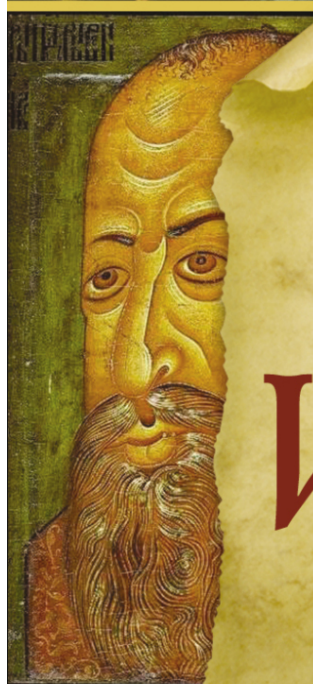




Эдвард
РАДЗИНСКИЙ
ВСЕ ЗАГАДКИ

ИСТОРИИ



Радзинский и цари

Эдвард Радзинский

Все загадки мировой истории

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Радзинский Э. С.

Все загадки мировой истории / Э. С. Радзинский —
«Издательство АСТ», — (Радзинский и цари)

ISBN 978-5-17-139048-8

Княжна Тараканова, Казанова, Моцарт. Что общего между красавицей-авантюристкой, неутомимым сердцеедом и гениальным композитором? Они дети одного века — упоительного, Галантного века. И дети века двадцатого, их имена на названы, но все они узнаваемы. Их судьбы привлекали внимание современников и занимали умы их потомков. Их жизнь и смерть - череда загадок, которые История не спешит раскрывать. В книге Эдварда Радзинского — смелые авторские версии, оригинальные трактовки исторических событий. Занавес над тайнами приподнят...

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-139048-8

© Радзинский Э. С.
© Издательство АСТ

Содержание

Все загадки любви	5
Месть	5
Марина и Юрочка	5
Конец одного стихотворения	10
Лицо	27
Еще раз про любовь	44
Иоанн Мучитель	61
Два Ивана	61
Из тьмы Азии	62
Первый царь	64
Преображение	67
Чаша крови	73
Грозный Иван	76
Избиение страны	82
Третий Рим	87
Ученик	94
Накануне потопа	95
Тайна Иоаннова сына	96
Конец ознакомительного фрагмента.	106

Эдвард Радзинский

Все загадки мировой истории

Все загадки любви

Месть

Марина и Юрочка

*Как живется вам с другою,
Проще ведь? – Удар весла!
Линией береговою
Скоро ль память отошла
Обо мне, плывучем острове...*

Я вспоминал эти строки Марины Цветаевой в тот исчезнувший во времени вечер, когда шел к нему.

В те дни в журнале «Новый мир» была напечатана «Повесть о Сонечке», и телефоны в Москве были буквально раскалены. Интеллигентные люди, которые тогда имели привычку читать «Новый мир», звонили друг другу...

Помню, как я читал повесть – пугающее извращение любви, казавшееся столь странным в семидесятых – в пуританское, «торжественно-глухое» время. И все вспоминал, как в чьих-то мемуарах прочел забавное: Марина (тогда еще для всех – Марина, ей шестнадцать) лежит в Коктебеле на раскаленном пляже. Там часто находили сердолики с тайным розово-голубым огнем...

И Марина кокетливо говорит поэту Волошину:

– Я полюблю того, кто принесет мне самый прекрасный камень.

– О нет, все будет иначе, девочка, – печально отвечает Волошин. – Ты сначала его полюбишь, потом он принесет тебе булыжник, вложит в руку, и ты скажешь: «Какой прекрасный камень!»

Это и стало странным эпиграфом к жизни Марины.

Ее любовь пугала. Мужчины боятся чрезмерности любви.

Она заблудилась в нашем опасном и скучном столетии.

В «Повести о Сонечке» есть очаровательная фраза – как хорошо было жить в XVIII веке, когда женщины думали не об идеях – о поцелуях. И восхитительное описание плача женщины, плача – священного обряда: глаза-виноградины, блестят слезами, они излучают такой жар, что слезы эти не успевают вылиться из глаз. Сила страсти столь пламенна, что слезы иссыхают уже там – в глазах-виноградинах... И, исчерпав все возможности описать этот плач, Марина заключает: она плакала по-моцартовски.

Божественность Плача Женщины... Божественность Женщины... «Повесть о Сонечке» – мечта о Галантном веке:

Пляж Казановы, пляж Лозена,

Антуанетты домино...

Но все телефонные звонки, которыми обменивались в тот баснословный вечер, были связаны, увы, не с великолепием самой повести.

В повести была заключена сенсация. Я даже сказал бы – скандал. Дело в том, что персонажи, описанные Мариной, существовали в действительности.

Сюжет повести: любовь героини к некоему Юрочке, актеру и режиссеру. Любовь безумная – любовь из стихов Марины.

Героиней повести была Сонечка Голлидэй, маленькая актриса Вахтанговской студии. Она давно умерла, канула в Лету, но осталась навсегда в Маринином повествовании – неземная принцесса, описанная со страстью – почти подозрительной страстью...

Что же касается Юрочки – предмета Сонечкиной любви, – тут сарказм и ярость. И тоже – подозрительные...

Красавец Юрочка. Марина пишет об этом «ангельском подобии», о его росте – «нечеловеческом», о бесконечном торсе, увенчанном божественной античной головой... О фантастическом хороводе женщин вокруг их бога Юрочки... Как все они (вместе с Сонечкой) стремятся проникнуть в его сердце... Тщетно!

– Юрочка у нас никого не любит, – говорит его старая нянечка. – Отродясь никого не любил, кроме сестры Верочки да меня, няньки...

(– И себя в зеркале, – зло добавляет Марина.)

– Прохладный он у нас, – ласково говорит нянечка. Этот «прохладный Юрочка» в семидесятых годах продолжал жить! Более того, его имя было известно всей Москве и всей стране. Сколько театральных легенд было вокруг этого имени!

Во всех книгах по истории театра вы прочтете, как блистательно он играл графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро». А какой он был Калаф в легендарной «Турандот»! Как неправдоподобно хорош!

Но все это прошло. Давным-давно прошло... А тогда, в семидесятых, Юрочка был величественным патриархом, Главным режиссером театра имени Моссовета, лауреатом всех возможных и невозможных премий, Героем Социалистического Труда и прочее, и прочее...

Юрий Александрович Завадский.

В те дни в его театре репетировалась моя пьеса. И вот поздним вечером я шел к нему поговорить об этой пьесе.

На самом деле я шел к нему с понятным садизмом – посмотреть, как чувствует себя старый баловень судьбы, которому внезапно дала пощечину истлевшая женская рука.

Я пришел в тот поздний час, когда все нормальные люди спят, но «люди этого круга» только начинают жить. Он сам открыл мне дверь – очередная старая нянечка спала. Как он был хорош в проеме двери – все то же «ангельское подобие»! И хотя он был уже совсем стариком, у него была абсолютно молодая, даже какая-то детская кожа. И величественная, совершенно голая голова римского сенатора...

Он провел меня в комнату. Мы сели, и я сразу увидел на столе «Новый мир». Он оценил мой взгляд, после чего спросил что-то о пьесе. Я начал отвечать, но уже через три минуты понял: ему скучно.

Все это время мы оба не отрывали взгляда от журнала. И вдруг он спросил:

– Вы давно читали «Евгения Онегина»?

Я был горд ответить: знаю «Онегина» наизусть.

– Ах, – воскликнул он, – какая удача! Вы знаете его наизусть – и я тоже! Мне на днях предложили прочесть его на радио... Хотите, поиграем в небольшую игру? Возьмем нечто малоизвестное из «Евгения Онегина»... ну скажем, путешествие Онегина в Одессу. Вы и его

знаете наизусть? Великолепно! Тогда давайте читать на два голоса. Я начну, а вы будете продолжать... А можно и наоборот – вы начинайте.

Я начал:

*Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем – и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил...*

– Стоп! – сказал он и продолжил:

*...Все хорошо, но дело в том,
Что степь нагая там кругом;
Кой-где недавний труд заставил
Младые ветви в знойный день
Давать насильственную тень...*

Потом пришла его очередь начинать. И он начал:

*...А ложа, где, красой блистая,
Негоцианка молодая,
Самолюбива и томна,
Толпой рабов окружена?
Она и внемлет и не внемлет
И каватине, и мольбам,
И шутке с лестью пополам...*

Он остановился, а я продолжал:

*...А муж – в углу за нею дремлет,
Впросонках фора закричит,
Зевнет и – снова захрапит...*

И вот в этом месте – я точно помню – он усмехнулся и спросил:

– Вы любите старые письма?

Я замер.

Он открыл ящик стола и выбросил на стол несколько писем. Потом не глядя взял одно и стал читать.

С первых строчек я понял все. Только одна женщина в России была способна на словоизвержение любви. Точнее – словоизвержение ревности.

Это было ее письмо – Марины!

Он читал, а я слышал (в каждой строчке слышал!) ее стихи, ее «Попытку ревности». Оно обращено к другому человеку, но там то же отчаяние... Те же проклятия... Те же слова:

*Как живется вам с чужою,
Здешнею? Ребром – любя?
Стыд Зевесовой возжсою
Не охлестывает лба?..*

*Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк – крутой?
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой Гипсовой?..*

*...Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин —
Как живется, милый? Тяжче ли?
Так же ли, как мне с другим?*

Как он читал это письмо! Это была сцена: Дон Жуан читает письмо Донны Анны.

И какая у него была печаль... но не печаль от прошедшего, не печаль воспоминаний, нет, совсем иная – печаль невозможности. Он опять видел ее, видел ее волосы 1919 года, видел ее рот, видел ее всю и знал – этого никогда не будет!.. Та юная плоть, изнемогавшая от страсти к нему, та Великая Любовь – все исчезло!

Что осталось? Тишина? «Грусть без объяснения и предела»?

Он ошибся. Остался журнальчик на столе. Беспощадная рука Командора, смертельно схватившая Дон Жуана...

Опасен час после полуночи, потому что мысли без помощи слов бродят из головы в голову. И мне показалось, что эта моя смешная мысль заставила его вздрогнуть.

А потом мы снова читали стихи Пушкина, и он вдруг сказал:

– Я очень хотел бы поставить «Горе от ума», но Чацкий слишком уж глуп. Только глупый мужчина может обличать перед любимой женщиной удачливого соперника. Это лучший способ окончательно бросить ее в его объятия. Кстати, это отлично понимали все истинные Дон Жуаны. Когда Дон Жуан решает расстаться с женщиной – знаете, что он делает? Он окружает ее любовью, топит ее в любви, надоедает ей любовью. Он делает это до тех пор, пока не утомит ее окончательно, пока глаза ее не начнут искать другого. И тут он начинает этого другого обличать. Это самый верный способ направить женщину к нему, прочь от себя... Женская вечная тяга к запретному, тяга поступать наперекор... Смешная ловушка... – Он остановился и добавил: – Но когда она уже с другим – извольте доиграть свою роль до конца! Возмущайтесь, ревнуйте, укоряйте! Но помните: ночными звонками, скандалами вы не сможете ее обидеть – только благородным равнодушием! Равнодушия при расставании она вам не простит! Никогда!

Он бросил письма в ящик стола и закрыл его.

За равнодушие мстят!

Он засмеялся, встал, показывая, что встреча закончена, и проводил меня до дверей. Когда я вышел на лестничную клетку, он вдруг спросил меня:

– Вам не приходило в голову – как Дон Жуан протягивает руку Командору?

И он показал.

Он был великим актером. Я навсегда запомнил бесконечную фигуру в провале двери, свет тусклой лампочки из коридора... Как он тянул в пустоту руку и как менялось его лицо! Сначала на нем было любопытство, потом вызов, а потом страх, слепящий ужас – ужас смерти... Опаленное лицо с мертвыми глазами... И он захлопнул дверь.

Я шел по улице. Горели фонари, падал тихий новогодний снег, и я банально шептал строки:

*Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?*

Конец одного стихотворения

*Зина Пряхина из Кокчетава,
словно Муромец, в ГИТИС войдя,
так Некрасова басом читала,
что слетел Станиславский с гвоздя...*

*Зину словом никто не обидел,
но при атомном взрыве строки:
«Назови мне такую обитель...» —
ухватился декан за виски.*

*И пошла она, солнцем палима,
поревела в пельменной в углу,
но от жажды подмостков и грима
ухватилась в Москве за метлу.*

*Стала дворником Пряхина Зина,
лед арбатский долбает плеча,
то Радзинского, то Расина
с обреченной надеждой шепча...*

*Зина Пряхина из Кокчетава,
помнишь – в ГИТИСе окна тряслись?
Ты Некрасова не дочитала.
Не стесняйся. Свой голос возвысь.*

*Ты прорвешься на сцену с Арбата
и не с черного хода, а так...
Разве с черного хода когда-то
всем народом вошли мы в рейхстаг?!*

Евгений Евтушенко
Размышления у черного хода

Она вошла в ванную.
Съела таблетки перед зеркалом.
Запила водой из-под крана.
Потом вернулась в комнату,
легла на ковер у кровати
и стала ждать.
Это и был – конец стихотворения, Женя.
Три дня и три ночи
ее пытались спасти.
Но она правильно все рассчитала —
она работала медсестрой.
Три пачки димедрола плюс четыре пипольфена,
и девять часов до того,
как пришла с работы подруга...

А потом наступила ночь тринадцатого января,
и люди, которых она в записке
просила «никого не винить в своей смерти»,
сидели за столиками в ресторанах
и сыто и пьяно провожали Старый год,
чтобы потом, во тьме постелей,
прижавшись телами к другим телам,
благополучно доплыть до конца новогодней ночи...
А в это время ее обнаженное тело
лежало в беспощадном свете мертвецкой
и безумный голос ее подруги
орал в замерзшую трубку:
«Как она?»
И мужской голос – сумрачно и сухо:
«Такие данные не сообщаем по телефону».
Действительно!
Зачем тревожить сограждан «такими данными»?
Засекретим смерть,
и пусть у нас всегда торжествует жизнь,
как в конце твоего стихотворения, Женя...

Вчера я встретил ее
в первый раз – после ее смерти.
На дачной эстраде танцевали девочки.
Я узнал ее сразу —
она танцевала последней.
Кровавые пятна носков для аэробики,
ураган волос а-ля Пугачева...
Шаровая молния в конфетной обертке!
Балдели дачные мальчики
с теннисными ракетками, на складных велосипедах.
И голос матери, нарочито громкий:
«Будет артисткой!»
Все это происходило под Москвой,
а совсем не в Кокчетаве,
где еще верят, что «в артистки»
надо ехать в Москву
и завоевать талантом сияющую столицу,
как в конце твоего стихотворения, Женя.
Она поехала...
Вчера я встретил ее на улице.
Она только что приехала в Москву
и шла в ГИТИС,
или в «Щуку», или в «Щепку», или во МХАТ.
И это было нашим вторым свиданием
после ее смерти...
...Ковер, на котором она лежала...
Она вошла во двор
и прочла объявление:

«Абитуриентов прослушивают в тире».
Маленькая головка на теле Венеры,
точёные черты Натали Гончаровой
и волосы, перехваченные черной ленточкой...
Пушкинская красавица в хипповой диадеме!
О, как она орала в тире:
«Я – Мэрлин!.. Я – героиня
самоубийства и героина!»
Молодые режиссеры широко улыбались
и слушали стихи Вознесенского
про самоубийство Мэрлин Монро.
(О, как она им нравилась!)
И «сам» широко улыбался —
эта красавица, полная сил и здоровья,
что она знала про самоубийство?
Про самоубийство и героин?
(О, как она ему нравилась!)
«На обороте у мертвой Мэрлин...»
Она победно вышла из тира.
И жались к стенке,
стараясь не глядеть на нее,
жалкие соперницы.
«Звезда абитуриентуры» —
так ее назовут
после трех лет ее поражений,
когда она узнает,
каково вглядываться
в тускло напечатанные списки принятых,
а потом кружить вокруг канцелярии
со сводящей с ума надеждой —
а вдруг пропустили?
А вдруг пропустили ее фамилию?
Такую смешную фамилию...
И режиссер, который набирал этот курс,
которому она так нравилась тогда в тире
во время отстрела юных дарований,
не объяснит ей,
что такое звонки по телефону,
сводящие с ума звонки по телефону —
звонки знакомых и родственников,
звонки сподвижников и сподвижниц по театру,
звонки из вышестоящих организаций,
звонки из нижестоящих организаций,
звонки с просьбой об элементарной человечности,
звонки с угрозами и истериками,
звонки с проклятиями и воплями...
И он положит ее смешную фамилию
на алтарь этих звонков,
как жертвоприношение

во имя того человеческого,
которое всем нам так не чуждо.
В конце концов,
на алтарь и следует положить
самое прекрасное...
А вместо нее выберут кого-то
из этой толпы «позвоночных» дурнушек,
которых сейчас она так презирает.
Возьмут некрасивую дочь красавцев родителей
(природе нужен отдых)...
О, бездарные отпрыски кумиров,
сводивших с ума в шестидесятые!
Ваши знаменитые фамилии
никогда не уйдут с нашей сцены!
И профессия актера
скоро станет у нас наследственной,
как в древней Индии...
...Ковер, на котором она лежала...
Но это все еще впереди,
а пока она идет по московским улицам —
победительница первого тура ГИТИСа,
а может, «Щепки», или «Щуки», или МХАТа.
Идет Актриса!
А всего через две недели...
Ох, как они забегают всего через две недели —
отвергнутые возлюбленные театра!
Разговоры в отчаянии:
«Сказали – есть места в Институте культуры...»
«Набирает дополнительно Воронежское училище...»
«Говорят, недобор в Ленинграде, в Эстрадном...»
И, только намаявшись,
наскитавшись по столицам и весям,
они дадут телеграммы – крики о помощи —
и, получив переводы, отъедут навсегда
в свои тихие городки...
Но отъедут слабейшие.
Актрисы останутся.

Здесь самое место выйти музыкантам,
например, из джаз-рок-ансамбля «Арсенал»,
и пусть золотая железка Алеши Козлова
сыграет нам что-нибудь
про вечную надежду
вместо того, чтобы рассказывать,
как они устроились дворничихами по жэкам,
воспитательницами по яслям,
работницами по прачечным,
нянечками по инвалидным домам и больницам —
повсюду, где дефицит в рабочей силе,

продолжая грезить (саксофон),
продолжая мечтать (бас-гитара),
как они вернутся летом в стрелковый тир,
чтобы снова и снова тщетно бросаться на шею
капризному возлюбленному – театру (синтезатор).
(И прости за безвкусные строки...)
А пока они ходят вечерами
в самодеятельные театры-студии,
где они пройдут
школу жизни настоящих актеров,
научатся курить,
отрежут косы,
и...
Скучно повторять эту банальную историю.
А те, кому совсем повезет
(совсем-совсем повезет),
познакомятся с посетившим случайно студию
настоящим режиссером.
Знаменитым настоящим режиссером.
Ах, какое это удачное знакомство:
«Он меня увидел и сразу все про меня понял...
Он сказал: «Вы – моя актриса.
Через год я буду набирать себе курс...»
Самое смешное, он это действительно сказал.
А потом ее сборы на свидание,
лучшие из туалетов ее подруг:
Маринины шерстяные носки,
Динина юбка
и ломовая кофта Насти,
которую Настя взяла поносить у Веры
из студии «У Никитских».
По дороге
она останавливается у всех афиш его театра,
она читает его фамилию,
замирая от букв его имени...
И люди рядом читают.
(Глупцы, они не знают...)
«Я у вашего дома,
я только не знаю куда,
вы забыли сказать...»
Его квартира.
Афиши, афиши, афиши его театра...
Холод и дрожь, когда раздевают,
и страх показаться неопытной...
Потом его бегство в ванную,
и вот уже (какой он старый!)
старый человек прощается с нею
осторожно и мило:
«Звони в театр, прямо в кабинет».

Но телефон не дает.
И она ходит под освещенными окнами,
где старый мальчик, наигравшись вволю,
укладывается вовремя спать.
Старый мальчик, не хуже и не лучше других,
которым не чуждо все человеческое...
А потом придет весна,
и начнется второе лето,
и они вновь войдут
в пыточные аудитории ГИТИСа,
или «Щуки», или «Щепки», или МХАТа,
и молодые режиссеры, которым велено
вынюхивать таланты для второго тура,
когда явится «сам»,
эти молодые ищейки за инквизиционным столом
все поймут наметанным глазом
по их дурно-профессиональному чтению
(занятия в студиях),
по обрезанным косам,
по потерянному румянцу...
«А вы уже поступали в театральное?»
«Нет... то есть да!»...

Вчера я увидел ее.
Она шла поступать в третий раз,
в последний свой раз.
Она шла, как хотел поэт, —
гордо шла по Арбату,
готовясь шагнуть с прекрасной улицы
прямо на сцену...
...Ковер, на котором она лежала...
Она шла и бормотала стихи —
все те же стихи о самоубийстве Мэрлин.
Она готовилась прочесть их,
как научил ее очередной возлюбленный —
знаменитый актер...
Знаменитый дерьмовый актер.
«Я – Мэрлин» – читай это с юмором.
Какая ты, к черту, Мэрлин?
Читай, как бы извиняясь, —
дескать, я ваша Мэрлин,
ибо других у вас нет...
И эту строчку:
«А вам известно, чем пахнет бисер?
Самоубийством!» – не ори, как зарезанная.
В самоубийство сейчас никто не верит.
В «Склифе» есть отделение,
там лежат «пугалки».
Это девки, которые травятся так,

чтобы их спасли.
Хотят попугать своих мужиков —
вот что такое современное самоубийство!»
И, бормоча стихи, как он учил,
она подошла к ГИТИСу,
а может, к «Щуке», или к «Щепке», или к МХАТу.
Подошла к этим вратам в рай.
Подошла, неся свою тайну —
тайну трех лет.

Эти три года...
(Рассказ подруги – нянечки
из дома инвалидов и престарелых):
«У нас, как в Ноевом ковчеге, собрались все,
кто не поступил в театральные и во ВГИК.
Массовик в доме,
чтобы как-то нас заинтересовать, бросил идею:
«Давайте пробьемся в телепередачу «Шире круг».
Подготовим самодеятельность – и пробьемся».
Что тут началось!
Все мгновенно представили,
как наши матери включают телевизор,
и на залитой светом эстраде
стоим мы!
С раннего утра, достав гитары,
мы дожидались прихода массовика.
Он пришел под вечер,
и мы начали репетировать
«Песню о Гренаде» Михаила Светлова...
И тогда вошла она!
И с нею все, о чем мы мечтали:
волосы, как у Пугачевой,
лицо из иностранного журнала
и суперфигура.
Она молча взяла гитару у остолбеневшего массовика
и запела стихи Цветаевой
своим рыдающим голосом.
Потом сказала безапелляционно,
как все, что она говорила:
«Вот что вам надо петь на ТВ!»
И пошла из зала,
а две девочки, как сомнамбулы,
молча двинулись за нею.
И я была одной из них...
Я буду подражать ей во всем,
я буду молиться на нее,
я буду верить всему, что она выдумала...
Однажды она рассказала,
что в Индии йоги знают эликсир жизни.

И когда ее тело легло под лампы мертвецкой,
я вбежала на Центральный телеграф
и умоляла перепуганную телефонистку
позвонить в Индию.
Я встала перед ней на колени,
я ползла к ней по залу,
пока вызывали милицию...
...Ковер, на котором она лежала...
Она была в нашем инвалидном доме
как бомба замедленного действия.
И наши немощные старики
надели отглаженные костюмы,
и наша директорша сходила с ума от ненависти...
Наш вечер Цветаевой,
который должен был стать началом славы,
кончился тем, что уволили несчастного массовика
(письмо директорши в райком).
Но однажды...
Однажды ей стало скучно,
и она нас оставила.
Так умела оставлять только она.
Сразу!
Сразу оставила стариков, старух,
безответно влюбленного массовика...
И я ушла за нею.
А потом погибли ее родители
в автокатастрофе (так она мне рассказала),
и у нее не стало денег.
Вот когда она придумала презирать!
Презирать – и деньги, и шмотки...
Она объявила себя хиппи,
раздала все, что у нее было,
и начала новую игру.
Она ходила в самодельных брюках,
сделанных из занавески,
в бархатной блузе из обивки старого дивана,
найденного на помойке,
и в кроссовках, взятых на время
(у кого – она забыла).
Она всегда легко дарила свои вещи
и потому легко брала чужие.
А когда они ей надоедали —
дарила чужие, как свои.
Это было началом многих моих испытаний.
Я все время должна была зарабатывать деньги,
чтобы платить за эти чужие вещи...
Каким прекрасным хиппи она была!
Жаль, что хиппи быть хорошо только летом,
пока греет солнышко...

Это хипповое наше лето!
Обычно мы снимали угол
за гроши, у какой-нибудь старухи,
но в то наше нищее лето
ей надоели мои «скромные замашки».
(«Я хочу репетировать – старухи мне мешают».)
И она нашла себе отдельную квартиру,
даже целый дом!
Это могла найти только она:
дом на Софийской набережной,
предназначенный на слом.
Его тайно сдал техник-смотритель
за сорок рублей, которых у нее не было, —
их платила безумная поэтесса,
«девочка с тараканчиками»,
не прошедшая в Литинститут.
Мы познакомились с ней на Патриарших прудах —
на бульваре Мастера и Маргариты...»

Это был дом с крестами досок на окнах,
как в войну,
с оборванными обоями, висящими в квартирах,
как обгоревшая кожа,
с ночными привидениями,
с отключенным водопроводом,
с приставаниями пьяного техника-смотрителя...
Дом смотрел слепыми окнами днем,
а по ночам в нем зажигались свечи
(опять «Мастер и Маргарита»),
и девочки-мальчики крались в квартиру
по пустой лестнице,
освещенной глазами осторожных кошек.
Дом оглашался ее стонущим пением.
Звенели стаканы,
«И всю ночь подъезжали кареты...» (ее слова).
Но пришлось бросить и этот дом,
потому что наступила зима,
и она почувствовала себя в доме,
как андерсеновский утенок в замерзающем пруду.
И тогда она начала путешествовать по знакомым.
Она купила в «Детском мире» игрушечный револьвер.
Он должен был защищать ее
во время неожиданных ночевок,
во время случайных пристанищ,
которые она находила той зимой.
Ей легко было менять квартиры:
все ее имущество, кроме револьвера,
составлял череп,
который подарил ей на день рождения

нищий художник.
В него она влюбилась безумно и сразу,
объявила его Ван Гогом,
чтобы убежать от него,
когда полюбит он.
Это была беда:
она любила, пока не любили ее,
потому что только пустота
могла поглощать ее постоянное извержение —
извержение любви.
Как часто ночами,
обезумев от луны,
она набирала телефоны возлюбленных
и, задыхаясь от нежности,
объяснялась им в любви, читала стихи,
чтобы не узнать их при встрече...

В тот хипповый год и состоялся ее дебют —
дебют на большой сцене.
Однажды ночью после спектакля
у одного московского театра,
где давно были погашены огни,
собрались мальчики-девочки.
Дверь служебного входа осторожно открылась,
и ночной сторож
(мальчик, не поступивший в ГИТИС)
впустил их всех.
Это были они —
отвергнутые возлюбленные театра.
«Непоступившие братья и сестры»
прошествовали в пустой зал.
Горела дежурка на сцене —
прекрасный таинственный свет.
Она поднялась первой.
Первой – на сцену.
Потому что влюбленный мальчик-сторож
выдумал все это для нее.
В ту ночь на настоящей сцене
она читала монолог Мэрлин
и играла отрывок
из возлюбленного «Мастера и Маргариты».
На настоящей сцене
она пела свои песни,
танцевала безумные танцы —
босиком, как Айседора Дункан.
Мечта, за которой она приехала в Москву, сбылась:
состоялся ее триумф —
триумф на настоящей сцене.
В ту ночь она стала Актрисой.

Первой Актрисой несуществующего театра...
На рассвете волшебство умирает.
Мальчики-девочки подчинились правилам:
они поаплодировали друг другу
и разошлись.
На пороге театра она встретила солнце.
Потом пошла на Патриаршие —
на свою любимую скамейку,
где в Москве впервые появился Воланд.
Она сидела на скамейке
и смотрела на пруд,
где Левин в «Войне и мире» на катке увидел Китти...
(Это рассказал ей литературовед,
в которого она была влюблена целых три дня.)
Вот тогда на Патриарших она сказала:
«После такой ночи можно и умереть».
В первый раз она примерилась к смерти.

...Ковер, на котором она лежала...
Она шла по Арбату поступать
(и не поступить)
в свой последний раз.
Шла хипповая Гончарова в тряпичной диадеме,
а навстречу шла она же,
только что приехавшая в Москву.
У обеих было одно лицо.
Только у нее – слишком много румян.
Только у нее – первые складки у рта.
Только у нее – страх в глазах...
Жаль, что они не поговорили друг с другом.
Она рассказала бы той, глупой и юной,
о своем триумфе на украденной сцене
и еще о том, как она вкусила славу
в летнюю душную ночь в Крыму...
Второй рассказ подруги:
«Мы возвращались из Коктебеля.
У нас не было денег,
в Феодосию нас довели на попутке.
Она была в восторге
и написала плакат:
«Мы – две студентки театрального.
Опоздали на поезд».
И все.
Заметьте, никаких просьб —
только факт.
А потом она встала у кинотеатра с гитарой
и запела стихи Цветаевой
своим рыдающим голосом,
счастливая, что у нее на груди красуется:

«Студентка театрального».
И люди останавливались
и слушали, как она пела.
И собралась толпа.
А потом из кинотеатра вышла тетка —
наша вечная российская баба-яга —
и стала орать, чтобы она убиралась.
Но она даже не повернулась.
Она пела.
И тогда тетка вызвала по телефону наряд.
Приехал молоденький милиционер.
Он старался быть суровым и попросил документы,
но тогда вышла другая тетка —
тоже вечная наша российская тетка —
и заорала:
«Не тронь дочек, а то я так тебя трону!»
Но милиционер был на работе:
«Почему нарушаете?»
И она ответила в своем стиле:
«Мы не нарушаем. Надеюсь, вам известно,
что в Италии это обычная картина:
человек поет, когда ему нужны деньги».
«Пройдемте в отделение», —
сказал несчастный милиционер.
«Мы можем пройти в отделение,
если нам там выдадут двадцать пять рублей
и шестьдесят копеек на дорогу».
Толпа зашумела,
и добрая тетка пошла в решительное наступление.
И тогда милиционер вдруг закричал:
«Ну, вы! Сколько вас тут сердобольных!
Неужели не найдется по полтиннику для девушек
вместо всех ваших криков?»
И пошел прочь.
И тогда кто-то положил на асфальт полотенце,
и люди начали бросать деньги,
а потом охапки сирени,
сорванной прямо с деревьев у кинотеатра.
А она все пела.
Она пела всю ночь до поезда.
И уехала, осыпанная цветами,
как и подобает Актрисе после спектакля.
Она любила цветы.
Сама их себе дарила.
Это были, пожалуй, единственные цветы,
которые подарили ей».
(Не считая тех, что положат на гроб.)
Итак, она шла по Арбату в последний раз —
в последний раз не сдать свои экзамены.

Ей обещал помочь знаменитый режиссер,
имя которого значило все в том училище.
Режиссер был стар (это она так считала,
а на самом деле он оставался ребенком).
Люди в театре совсем не стареют,
как их портреты в фойе...
Режиссер увидел ее в театре-студии
и влюбился, как обычно
(то есть пылко и на неделю).
«Ты рождена для театра —
так он сказал ей. —
Но ты пугаешь всех своими замашками.
На приемных экзаменах ты должна выглядеть
не как Мэрлин Монро,
но очень скромно, как обычная ткачиха,
как Екатерина Алексеевна Фурцева
(к сожалению, она не знала, кто это такая), —
и тогда я смогу тебе помочь!»
Но он не помог ей,
малое старое театральное дитя.
И никто так и не выяснил,
приходил ли он вообще в тот день
на приемные экзамены.
Режиссер обладал поразительным свойством:
когда от него что-то требовали,
он становился человеком-невидимкой.
А от него все время требовали:
актеры – ролей,
администрация – решений,
требовали старухи (его прежние девочки)
и девочки (его будущие старухи).
И он всем обещал.
Это было его правило – не отказывать.
Потому что он знал:
в тот момент, когда они его настигнут,
он исчезнет.
Он объяснял мне потом по телефону:
«Читала она превосходно.
Но комиссия решила, что она сумасшедшая:
в конце она вдруг сбросила туфли,
полезла на шведскую стенку
и оттуда кричала финал стихотворения
про Мэрлин Монро.
И они так испугались —
я говорю о приемной комиссии...»
И он задохнулся от наивного детского смеха...
(Она придумала этот финал
во время одиноких безумных репетиций
в домашнем театре

в недостроенном доме.)
В этой истории была правда,
в которой режиссер никогда бы не признался
даже себе самому.
Средний человек,
он страшился чрезмерного.
Полый человек,
он страшился наполненного.
Самое странное – она это поняла:
«Только не вздумай ему звонить и просить за меня...
Бесполезно.
Не они, а он меня боится.
Не они, а он меня не взял».

А потом я увидел ее
в последний раз до ее смерти.
Я ехал к ней на свидание.
Я сел в машину и повернул ключ в замке зажигания.
И ключ обломился.
И тут я вспомнил,
как она впервые села в мою машину...
Мы ехали тогда за город
по пустой дороге в светлый июньский вечер.
Она увидела в окне полную луну и закричала:
«Ведьмин час наступил!»
И тотчас я услышал удар,
резкий, жестокий удар:
нас догнал «рафик» и ударил сзади.
На пустой дороге...
Потом шофер «рафика» глядел безумными глазами
и никак не мог понять,
как же это произошло.
На пустой дороге, на абсолютно пустой дороге!
И тогда она сказала удовлетворенно:
«Это – я!»...
Я выбросил сломанный ключ,
оставил машину у тротуара,
поймал такси и успел на это свидание.
На последнее свидание до ее смерти.
Было тридцатое декабря.
Ей оставалось жить две недели...
Я стоял у памятника Пушкину,
поджидая обычного ее появления —
эффектного появления в новогодней толпе у «Пушки».
Неожиданно я наткнулся глазами
на высокую усталую женщину,
такую обычную женщину —
в темном пальто, с блеклым лицом,
с волосами, уложенными под береткой...

Она пришла после ночного дежурства
у постели парализованной старухи.
«Теперь я работаю ночной медсестрой,
а это пальто я купила сама.
Правда, миленькое?»
Миленькое пальто подозрительно пахло покорностью.
Покорностью и правдой.
И очень трудным хлебом.
Она заметила мой взгляд:
«Пора начинать жить нормально,
мне скоро (ужас!) двадцать.
Вчера я собрала все свои вещи
и утопила ночью в Патриаршем пруду
вместо себя:
револьвер, череп,
и главное – хипповую ленточку,
которой я обвязывала волосы.
Вот ее больше всех было жалко.
Ленточка долго плавала в пруду,
а я кричала ей:
«Что делать, у меня только два пути —
утопиться самой или утопить вас всех
и покончить с театром!»
Я даже позвонила режиссеру,
чтобы его не мучила совесть,
и сказала ему:
«Я покончила с театром!»
И знаешь, что он ответил?
«Это хорошо!
Потому что если бы ты к нам поступила,
мы жили бы как на вулкане.
Ты неровная, от тебя не знаешь, что ждать...»
Пусть они учат ровных!
Помнишь у Блока стихотворение про самоубийство:
«Она пришла на землю, но земля ее не приняла...»
Загнанных лошадей пристреливают,
а непринятых в артистки...»
Она засмеялась:
«Не гляди так...
И не бойся.
Я уже не играю в эти игры.
Я выхожу замуж.
Я теперь как все.
И ты молодец – сразу это понял».
Ее бешеная интуиция – она поняла мой взгляд...
Будь проклят этот взгляд!
Мы зашли в бар «Охотник».
Она сняла пальто, пахнущее покорностью,
выпустила из-под беретки золотые волосы

и в темноте опять стала собою.
«Мне попалась замечательная парализованная бабуля,
ее родственники от меня в восторге.
На днях у бабули начала двигаться нога.
Ты, конечно, не веришь, но у меня – особые пальцы,
оказалось, я могу лечить!
Опять не веришь?
Нога задвигалась от моего массажа,
и сегодня в честь этого события
и наступающего Нового года
я решила чуточку приукрасить мою бабулю —
все-таки она женщина...
Я наложила румяна на ее лицо
(они были у медсестры в столике)
и надушила французскими духами
(тоже были в столике).
И бабуля благодарно мне улыбалась,
когда я прощалась с ней до Нового года...»
Глаза горели – она была прежняя,
потому что она не могла быть другой.
А я сидел, представляя,
что происходит сейчас в палате,
как родственники уже узрели размалеванную старуху
и медсестра уже обнаружила,
куда пошли ее румяна
и драгоценные французские духи...
Мне легко это было представить,
потому что я такой же, как все.
Как все мы, Женя...

Теперь, после ее смерти,
я часто встречаюсь с нею.
Куда чаще, чем при ее жизни...
Вчера я сидел на пляже в Коктебеле.
Было солнечное утро.
Она вышла из моря в прилипшем бикини
и с грозной копной волос – Медуза Горгона!
И женщины испуганно встали в лежаки —
такой беспощадной была ее красота.
А пляжный мальчик сказал мне:
«В прошлом году здесь была клевая девка
со смешной фамилией – Пряхина.
Мне недавно рассказали, что она вышла замуж
за мексиканца, представляешь?
Уехала в Мексику и руководит театром в джунглях...
Что ты так смотришь?
Это рассказала ее безумная подруга!
Всей нашей честной гоп-компании рассказала,
какой замечательный театр в джунглях

основала Зинка Пряхина...»
И я вспомнил,
как однажды поведал ей поразившую меня историю:
в Мексике, в непроходимых джунглях,
какой-то подвижник основал театр
имени Станиславского,
чтобы там, вдали от суеты,
строить Храм Искусства.
Ну конечно!
Конечно!
Вот он, конец стихотворения!
Долгожданный конец стихотворения, Женья!
Кстати, в эту концовку
можно вписать и гриновский корабль,
стоявший на набережной Коктебеля
(о, как она его любила!),
эту дощатую лодку с выцветшими тряпками
и надписью «Алые паруса».
На ней вечно играют орущие дети
и фотографируются вместе с родителями
на палубе, пропахшей детской мочой.
Вот этот ее любимый корабль
однажды подплыл к Коктебельскому пляжу.
С корабля сошел юный капитан
с медальным латиноамериканским профилем.
Он обнял нашу прекрасную героиню,
выходившую из пены вод,
и увез основывать театр
имени Станиславского
в непроходимые джунгли Мексики,
или Никарагуа,
или...

Короче, туда, где требуется
служительница в Храме Искусства!
А с берега вослед кораблю
бросали охапки сирени
благодарные жители Феодосии,
и море цвело, как бульвар
в ночь ее крымского триумфа...

Клянусь, ей понравился бы этот конец!
О, переложи, переложи, переложи его в рифмы, Женья!
И тогда мы забудем,
мы все наконец забудем
ковер, на котором она лежала...
...Ковер, на котором она лежала...
Ковер, на котором она лежала...

Лицо

Актер Б.:

– Вы не хотите выпить со мной кофе? Недавно один старый актер сказал мне: «Вы не хотите выпить со мной кофе? А то мне буквально не с кем выпить кофе – все сверстники умерли...» Нет, я не думаю, что я стар, не беспокойтесь. Дело идет лишь к шестидесяти, как до этого шло лишь к пятидесяти... Значит, вы хотите, чтобы я рассказал о Мещерякове? Теперь всем интересно о Мещерякове... Я преподавал в театральном училище вместе с режиссером К., точнее, «с тем самым режиссером К.», как принято было тогда говорить. Мещерякова мы с тем самым режиссером К. впервые увидели на приемных экзаменах. Представьте себе: восемнадцать лет, античный профиль, кудреглав, конечно, рост, фигура и т. д. и т. п., короче: Василий Буслаев, былинный добрый молодец. Мы, как никто, склонны к эпидемиям. Нам бы только чем-нибудь заразиться. Тогда все приболели итальянским кино – неореализм, поправдашные лица, поправдашний быт... А тут является красавец, Василий Буслаев, былинный добрый молодец... Да, это я уже говорил. Повторяюсь. Легкий склероз. Знаете, когда Эйзенштейн умер, у него не было никаких признаков склероза – только сердце разорвано в клочки инфарктами. Кажется, я удостоюсь и того, и другого... О чем мы говорили? О лице – о прекрасном лице этого Мещерякова. И о том, что я подумал тогда... Да, я подумал – какой прелестный «сюжетец для небольшого рассказа»! Живет в городишке, в каком-нибудь Мордоплюйске, красавец: голос, темперамент, восторги самодеятельности, посылают его в Москву за славой в театр. Одновременно существует некий гадкий утенок, худой, невысокий, хрипатый, короче, некрасивый. Мечтает втайне о сцене, но боится – куда с таким рылом в калашный ряд! И все-таки решается... Я говорю об Осьмеркине. Да, он был с того же курса – прекрасный был курс. И вот оба они поступают в театральное. И тут-то выясняется парадокс: оказывается, все прелести и аполлонистое лицо Мещерякова отнюдь не подарок судьбы, но более того – ее наказание. Сюжет, сюжет! Можно сделать довольно страшную комедию... Послушайте, напишите! И с какой-нибудь ролькой для меня. Небольшой, но милой ролькой. На большую я уже не претендую, не хватит памяти. Напишите, родной, уверяю – не раскаетесь. Я ведь тоже, говорят, очень неплохой артист. Вот умру, вывесят на моем доме на стене мемориальную доску, как умывальник, а вы будете проходить мимо и терзаться: «Не написал я ему рольку, злодей!»... Да, о чем мы? О Мещерякове. Помню, на каком-то курсе принес режиссер К. нашим студиям отрывок из пьесы – подготовить самостоятельно. Как же называлась эта пьеса? Не вспомню! И не надо... Короче, это была современная пьеса о любви. Содержание: некий молодой парнишка знакомится с девицей и уводит ее к себе домой. Ну, естественно, на роль героя – уводить девицу – вызвался наш Буслай Аполлоныч Мещеряков. Тогда режиссер К. попросил подготовить ту же роль Осьмеркина. Потом оба они показали свои достижения. И вот тогда-то режиссер К., кажется, в первый раз сказал Мещерякову о его лице... Черт возьми, мне было сорок лет. Замечательно! Что он ему сказал? Какое это имеет значение... Его – нет, как нет и тех сорока лет! Жуткая профессия... Так привыкаешь к репликам... Ни словечка в простоте...

Режиссер К. сказал тогда студенту Гоше Мещерякову:

– Понимаете, Мещеряков, когда на сцене человек с таким редкостно красивым лицом ухаживает за девушкой, зритель совершенно уверен, что она уйдет с этим красавцем. Более того, друг мой, зритель жаждет, чтобы она не ушла, чтобы она оказалась хоть чуточку умнее, нравственнее, что ли... Но когда она все-таки уходит с вами, у зрителя остается презрение к ней и ненависть к вам за то, что вам дано лицо, которое может сразу, наповал оглушить женщину. Если прибавить к этому ваш бешеный темперамент, то получается сцена не о любви, а о похоти, о дряни, пусть простят меня присутствующие... Что произошло, когда тот же отрывок показал Осьмеркин? При его, скажем, не очень взрачной внешности, естественно, вначале

девушка не обращала на него никакого внимания. Но он так разговаривал с девушкой, так сумел убедить ее и нас, что он одинок, что он умен, что он верит в любовь и жаждет ее... И в результате мы поняли: все это для него не очередное похождение, а вопрос о человеческом доверии, вопрос о победе над одиночеством, вопрос жизни и смерти, если хотите. Поэтому, когда девушка ушла с Осьмеркиным, мы были благодарны ей за то, что она разглядела человека, за то, что у нее есть сердце. И получилась история о любви... Вы должны понять, Мещеряков, у вас – опасное лицо. Понимаете, какой парадокс: вы обязаны быть на сцене во сто крат умнее, интереснее Осьмеркина, чтобы зритель простил вам несравненную вашу внешность. И если этого не случится, вам не следует играть любовь. Если хотите, вы слишком красивы, чтобы играть любовь.

И еще: перестаньте любить великолепный тембр вашего голоса. Вам следует его ненавидеть! Разве часто в жизни вы встречали людей с такими голосами? Нет! Люди в жизни говорят обычно. Вообще, старайтесь все делать попроще. Святая простота... «Отелло не ревнив», – заявляет Пушкин, и вместо стр-р-растной ревности выбирает для благородного мавра самое простое, обыденное определение: «Отелло доверчив». Воспитывайте в себе вкус к простоте, к жизненности. Я заклинаю вас, пренебрегите своими сокровищами!

И режиссер К. улыбнулся.

Преподававший в театральном училище режиссер К. был знаменитым театральным режиссером. Но студент Мещеряков тогда ему не поверил.

Наступили летние каникулы.

Во время каникул все тот же Осьмеркин снялся в кинокартине. Успех получился огромный. На каждом углу повесили плакаты фильма, и Мещеряков повсюду теперь наталкивался на знакомый утиный носик студента Осьмеркина. У входа в училище выстроилась стража из девиц, и вскоре уже все училище улыбалось симпатичной осьмеркинской улыбкой и говорило его голосом с приятной хрипотцой...

А потом на киностудию позвали Мещерякова.

Молодая толстуха в белом пушистом свитере – груди в свитере, как зайцы, – повела его бесконечным коридором. По стенам блестели стеклами кадры из великих кинофильмов. Проходившие отражались в них: кто пониже – макушкой, кто повыше – и голова попадет... Мещерякову повезло: он отразился всем лицом, даже шея была видна. Подумал: хорошее предзнаменование. А толстуха все вела (они спускались в подземелье, поднимались куда-то к солнцу), и привел наконец его сей белокрылый грудастый поводырь в узкую комнатенку. В ней и сидел кинорежиссер Пилар.

Кинорежиссер Пилар – молодой, в черной рубашке, в черной кожаной куртке, в черных очках и в черных волосах, был похож на ученого грача, который вытягивает клювом судьбу на базарах. Он поздоровался с Мещеряковым, помолчал, обратив на него темные глазницы, потом встал, кивком попрощался и вышел в коридор.

Толстуха тотчас устремила за ним, и тогда Мещеряков услышал за дверью:

– Вы часто наблюдали в жизни такое лицо? Может быть, оно у вас? Может быть, у Сидор Сидорыча Сидорова, который должен, поглядев наш с вами фильм, задуматься над своей жизнью, – может быть, у него будет такое лицо? – Толстуха что-то бормотала, но Пилар жестко перекрыл ее: – Нужен человек с нормальным, современным лицом! Я бы сказал – с тривиальным лицом. Ну, типа Осьмеркина, что ли!

Мещеряков вернулся в общежитие. Пошел в уборную и долго гляделся в зеркало над рукомойником.

Он почти ненавидел свое лицо.

И началось преображение Мещерякова.

Был он бережлив, почти скуп, и вдруг стал щедр, вечно сидел без денег, ходил по ночам грузить капусту на «Москву-Сортировочную» и подрабатывал в массовках на киностудии. Был

он нелюдим, а тут купил гитару, пел песни своим красивым голосом, и ни одно веселье теперь не обходилось без него. Короче, он стал считаться компанейским парнем. И как положено такому парню, Мещеряков теперь все время влюблялся – скоротечно и охотно. Свои влюбленности он обязательно украшал разнообразными затейливыми поступками, как украшают резными наличниками в виде петушков или голубков деревенские избы.

Актриса С.:

– Я была влюблена в Мещерякова. Знаете, я просто глупая, искренняя русская баба – когда влюбляюсь, буквально теряю лицо... Я так себе и говорю: «Стелла, ты опять потеряла лицо!» Мы тогда справляли не то майские, не то День Победы. Ну, теплая компания, напиток, наето – дело к двенадцати... Он на меня – никакого внимания! Абсолютно! Представляете: красивая девка, высокая, белокурая... Я еще все время рядом с толстой Гуслиной держалась, чтобы она мне фонила, и все равно – ноль внимания, фунт презрения. Ну, думаю, ладно! Сижу, жду... И тут он встает и предлагает: «А не закатиться ли нам к морю, мальчики-девочки?» Ну я со всей своей обычной искренностью спрашиваю: «А где же море-то здесь?» А он, оказывается, в переносном смысле, имея в виду Москву-реку. Говорит, сердце у меня ликует, нет с ним никакого сладу, хочу к морю! Он часто как-то не по-русски выражался. Ну, думаю, ладно, и говорю: «Закатимся!» Выходим – слякоть, я в туфельках, впереди лужа. Тогда он сбрасывает с себя пальто, бросает в лужу и говорит: «Ты за туфли не бойся и ступай по моему пальто павой». Так мне это тогда понравилось! Ну, дальше припилили мы к Москве-реке, на станцию Левобережная. Стоим, вокруг трава мокрая, Москва-река... Глядим – и больше ничего! Вот, честное слово, не верите? Представляете: красивая девка, высокая, одета, волосы вьются, кровь с молоком – и опять – ничего! И так всю жизнь... Да, на нем еще свитер был очень красивый. Я теперь сама вяжу и разбираюсь в этом деле. Наверное, мать связала или кто-то из нас, дурищ, – он многим нравился, красив был до неприличия!

Героев Мещеряков больше не играл, и темперамент свой бешеный не показывал, боялся. Стал он играть теперь роли комические – простаков разных, водеvilных стариков и деревенских добро-нелепых парней. И говорил он теперь заурядно, глухо и даже с осьмеркинкой хрипотцой (ну, как все в училище).

Актёр П.:

– Мы с ним дружили. Я человек тихий, да и сейчас... в ТЮЗе вон уж сколько лет, а все зайцев играю и грибов...

Но мы с ним сошлись, однако. Он считался в училище... способным, особенно на роли простаков... Малый он был веселый, очень веселый. Но иногда на него находило: придет молчком, тумбочку откроет, у него там древняя пластинка хранилась – «Мадам, уже падают листья» Вертинского. Так вот, вынет он ее, на проигрыватель поставит, а сам на кровать уляжется лицом к стене и подпевает каким-то мрачным голосом. Окончится пластинка – он снова ее ставит и снова подпевает – и так часами. Лучше его было не трогать в это время. И не дай Бог, если выпьет он под такое настроение прославленной нашей всероссийской. Тогда все – продолжал без предела. И совсем другой человек становился... Договорился он как-то с девушкой куда-то идти... ну а с утра на него наехало. А девушка... она его очень любила... как раз и приходит за ним. Ну, принарядилась, как могла... А он привстал на кровати, поглядел на нее с гадкой усмешкой и спрашивает: «Ты хоть в зеркало смотрелась?» Она смолчала, а ему и этого показалось мало. «Ты, – говорит, – на пуховую подушку похожа в этом платье. Такая здоровенная подушка, и две ножки из нее торчат – жа-а-алконькие!» Ну, она в слезы и убежала. А я его ударил, честно говоря. А он сказал: «Сейчас от тебя одни уши останутся!» И избил меня. Ну, избить меня нетрудно... Но обычно до драк не доходило. Он в это время просто исчезал из училища. А возвращался денька через три – исхудавший, запаршивевший, но обязательно с бюллетенем, «бюютнем», как он называл, – очень боялся, что исключат. А однажды вернулся, сидит, молчит, а потом вдруг: «Мне, Петя, землю нужно пахать, семью завести, собачку

Жучку...» И замолчал... Но все это редко с ним бывало, да и знали об этом не многие. А потом я уехал по распределению в свой ТЮЗ. Писал ему. Но он не отвечал. Отвыкал он от людей очень легко... А потом как-то вдруг письмо от него пришло – непонятное, видно, под пьяную лавочку сочинял. Я его потерял, когда переезжали на новую квартиру...

На дипломе Мещеряков прелестно и смешно сыграл Курочкина из «Свадьбы с приданым». А когда из-за болезни Осьмеркина попросили его подыграть на репетиции красавца Армана в отрывке из «Дамы с камелиями», Гоша с готовностью напялил на себя осьмеркин-ский фрак, жалко застывший на его фигуре, и вышел на сцену. Взором, полным страдания, окинул он изнемогавшую от любви и кашля чахоточную Даму и произнес сердечно, со всей душой, первую фразу роли:

– Ну что, все кашляешь, да?

В зале улеглись от смеха, а режиссер К. перекрыл всех своим тонким, стонущим женским хохотом.

После «Дамы с камелиями» Мещеряков был приглашен проводить режиссера К. до дома – знак особой милости.

Они шли бульварами. Лето, вечерний свет... В окнах зажигали огни, и видны были лепные потолки в особняках. Режиссер К. думал тогда о постановке «Горе от ума».

– Очень смешно вы сыграли, друг мой, с большим юмором и со своей точкой зрения, – начал режиссер К. – Вместо романтического красавца получился простодушный, сентиментальный Арман. Арман плюс Вася Курочкин. В результате – смешно и трогательно. Вот что значит неожиданная точка зрения. Кстати, о точке зрения... Кажется, у Всеволода Иванова есть рассказ: петуху отрубили голову, и он бежит по Арбату – и Арбат с точки зрения этого безголового петуха... Сочащаяся кровью разрубленная шея, бег, беспорядочно бьющиеся крылья – великолепно и неожиданно, не так ли?

Мещеряков согласился.

Тут режиссер К. остановился и зашептал Мещерякову в самое ухо:

– Не было! Не было у вас никакой точки зрения! Вы ведь вначале все всерьез играли! Без всякого юмора! Со всей душой!

И режиссер К. залился женским смехом. А потом продолжал:

– Какой вы несчастный сейчас! Бедный – вы всю душу вложили, а получилось до того нелепо, что очень смешно... Ну и радуйтесь! Ведь получилось новое прочтение. А в искусстве важен результат! Все остальное – биография! И поэтому...

Режиссер К. задумался. Когда он беседовал, он говорил без всякой видимой связи, следуя странному, одному ему понятному течению мысли, потому что говорил режиссер К. – для себя. Потом он опять заговорил:

– Я сейчас вспомнил историю про великого режиссера М. Я вам расскажу ее, вам пригодится. Случилось это в конце тридцатых годов, после того как он впал в немилость и лишился театра. За него вступился тогда Станиславский... Короче, после всех неприятностей и передраг отбыл наш М. в санаторий вместе с женой, красавицей и актрисой... точнее, красавицей, а потом уже актрисой.

В том же санатории отдыхал актер Л., грандиозный, кстати, актер. Он тогда болел и возлежал на балконе.

М. и красавица жена были разбиты, подавлены и оттого расхаживали по санаторию в самом небрежном трапезе.

И тогда актер Л., чтобы отвлечь их от мрачных дум, предложил: «А почему бы, любезный М., красавице Зиночке не потрясти нас всех своими парижскими туалетами, о которых мы столь наслышаны?»

М. идея неожиданно понравилась.

И вот на следующий день сам М. надевает бесподобный черный костюм и выходит на прогулку, статный и фразный, а рядом с ним шествует красавица жена в кроваво-красном парижском туалете и в огромной шляпе с маками – все сумасшедшей красоты. Но актер Л. в то утро как раз получил телеграмму из Москвы о смерти Константина Сергеевича. И прорыдал все утро, как ребенок: умер учитель!

И тут Л. со своего балкона видит, как по аллеям идет бесподобная пара. Л. кричит им сверху. Но они не понимают его и веселятся, и танцуют в аллеях (М. двигался как бог), и целый час длится это представление: тут и страстное танго, и болеро, и старинный менуэт...

Наконец они поднимаются к Л. и все узнают.

И тогда жена М. начинает кричать. Она кричит в голос, она буквально рвет на себе свое красивое платье и царапает ногтями грудь, она оплакивает Станиславского... И еще: она понимает, что умер самый сильный их покровитель – и теперь они беззащитны.

А режиссер М.? Как вы думаете, что сделал режиссер М.? Он начал хохотать! Страшно хохотать! Ужасно хохотать! Не потому, что М. не любил Станиславского. О нет! Он любил его и поклонялся ему. Но он был прежде всего режиссер, и оттого он тотчас представил всю трагикомедию сцены – от танцев в аллеях до рыданий жены. Режиссер М. хохотал потому, что он был мастер, а первая мысль мастера должна быть о своем искусстве... А вы знаете, что я сейчас подумал, – сказал К. опять без всякой связи с предыдущим, – а не сыграть ли вам Молчалина?

Молчалин – с вашей внешностью, с яростным темпераментом, который у вас все время в глазах... Молчалин – Жюльен Сорель. Только Жюльену Сорелю надо было все время выказывать ум и знания, а Молчалину наоборот – скрывать их и доказывать глупость и простодушие, чтобы владыки мира признали его своим.

И он вновь зазвенел своим женским смехом.

Так повезло Мещерякову: при распределении он попал в театр режиссера К. и сразу на большую роль.

Через несколько месяцев состоялась генеральная репетиция «Горя от ума».

В темном зале находился единственный зритель – критик Д., тогдашний глава почитателей режиссера К.

Спектакль критику Д. сразу понравился – и оттого всю вторую половину спектакля он глядел на сцену невнимательно, так как обдумывал, что сказать ему по поводу спектакля.

Когда занавес окончательно опустился, формулировки у Д. были готовы.

Он назвал спектакль «попросту гениальным». Затем последовали отзывы об актерах. Про Мещерякова, например, он высказался так: «Много обольщения, но мало обобщения». (Фраза была хороша, так как, с одной стороны, была бессмысленна, а с другой – содержала тьму разных смыслов.)

Режиссер К., румяный от похвал, при упоминании о Мещерякове только вздохнул.

– По-моему... это наверняка слишком смело с моей стороны... но он – не ваш актер, – продолжал критик Д. (Об этом он уже слышал не раз от самого режиссера К.)

К. еще раз вздохнул, поразившись проницательности критика Д.

«Горе от ума» прошло тогда с огромным успехом. Режиссер К., счастливый и щедрый после бесконечных вызовов, поблагодарил всех актеров и превознес их.

На следующее утро Мещеряков появился в театре с букетом махровых гвоздик.

Секретарша режиссера К.:

– Я сама некрасивая, у меня только фигура ничего и ноги – оттого, наверное, я красивых людей так люблю. Зовут меня Лариса Дмитриевна, как героиню «Бесприданницы», и вообще у меня с ней много сходства... Мещеряков был очень симпатичный, просто красавец: высокий, ресницы длинные... Вообще ресницы – это моя слабость. Я ему как-то говорю: «Ну зачем вам такие ресницы, вы ведь мужчина, отдайте их мне»... Это было сразу после «Горя»: у моего (то есть у режиссера К.) сидела делегация перуанцев, когда появился Мещеряков с гвоздиками –

кстати, это мои любимые цветы. Он сказал: «Я к режиссеру К.» – и хотел пройти. Ну, я его за рукав, объясняю: там делегация перуанцев, а он меня вдруг обнимает и молча усаживает в кресло, и я, как дура, почему-то сажусь, а он к моему проходит...

Я опомнилась – поздно: дверь приоткрыта, события разворачиваются. Гоша кладет цветы на стол, низко-низко кланяется моему и говорит: «Это за вашу муку со мною и за вашу науку». А потом объявляет, что он подготовил роль Отелло и хочет тут же читать.

Мой отнекивается, но перуанцы начинают хлопать в ладоши, и Гоша без передышки – давай читать! Смотрю, мой голову опустил, плечи вздрагивают...

А Гоша читал, читал – и вдруг остановился, помолчал и пошел к дверям. А вечером он пришел на репетицию и как ни в чем не бывало, смешно-смешно, в лицах все изобразил – как он монолог Отелло читал, а мой от неловкости чуть не жрал со стола гвоздики, а перуанцы делегацией хохотали.

Я его потом перед репетицией в коридоре встретила. Он засмеялся и говорит: «Я вас сегодня ведь с праздником забыл поздравить, Лариса Дмитриевна».

Я говорю: «С каким?» «Ну как же, – отвечает, – сегодня по народному календарю – Акулина-Задери хвосты, в этот день скот от жары бесится...»

И расхохотался. И тут я поняла, что Гоша нас всех разыграл. Это была просто шутка! Я люблю веселых... Я сама долго жила в коммуналке – комната моя была рядом с кухней – столько ссор через дверь слушаешься, поэтому, наверное, я люблю так веселье и людей веселых...

На «Горе от ума» появилось много восторженных рецензий. С легкой руки критика Д. ругали только Мещерякова. Все отмечали, что Мещеряков не подходит к роли, и, что было особенно неприятно режиссеру К, вспоминали при этом знаменитую трактовку Молчалина в постановке Товстоногова в БДТ.

Режиссер К тяжело переносил подобные неудачи и, сам не желая того, тотчас охладевал к актерам, с которыми их претерпевал. Это охлаждение выражалось в том, что режиссер К. попросту забывал об актере (его воображение все время строило декорации новых и новых спектаклей, и те, кто в них не участвовал, становились ему безразличны).

И он забыл о Мещерякове.

Вспомнил он о нем лишь однажды: когда принесли на утверждение Гошину фотографию, которую должны были повесить в фойе среди портретов остальных актеров театра.

«Улыбка... кудри... красавец! – сказал насмешливо К. – Повесьте его куда подальше, чтобы школьники не заметили. А то ведь сразу сопрут какие-нибудь юные грешницы из 8-го «Б» класса».

И фотографию Мещерякова повесили в самом дальнем конце фойе – над входом в буфет.

И потянулись годы.

Мещерякова занимали теперь только в самых маленьких ролях, но он посещал все репетиции режиссера К. В спектаклях он участвовал теперь совсем мало, и свободного времени оказалось у него предостаточно. А так как малый он был общительный и марка театра ценилась очень высоко, то стали его с удовольствием приглашать на радио. В радиопередачах «За сказкой сказка» он сыграл всех тварей, какие есть и каких нет на белом свете: жучков, паучков, дельфина, Змея-Горыныча, зебру и доброго волшебника Космонавтича. В передаче «Опять двадцать пять» он выступал в роли говорящего будильника, а в передаче «Ровесники»...

Короче, зарабатывал он хорошо. Обедал он теперь в ресторане Театрального общества – обедал долго и всегда с компанией. Он чуть раздался, черты лица у него поплыли, и оттого к красоте добавилась солидность, уютность, что ли...

Во время работы на радио, во время долгих своих обедов и ужинов перезнакомился Гоша со всей Москвой. И постепенно стал он для всех попросту «Гоша», добрый, щедрый Гоша, весельчак, умеющий иногда так смешно разыграть ближнего.

Слава о розыгрышах весельчака Гоши шла немалая.

Взять хотя бы историю с Осьмеркиным. Замечательная история!

Осьмеркин получил тогда звание лауреата на смотре-конкурсе молодых актеров. Режиссер К. отдыхал в это время на Рижском взморье, и Осьмеркин, конечно, несказанно обрадовался, получив однажды от К. телеграмму в таком роде: «Поздравляю тчк так держать тчк дарю тебе собственную кровать красного дерева тчк пусть тебе на ней так же сладко спится и хорошо думается зпт как мне тчк режиссер К тчк.».

Речь шла о полуразвалившейся древней кровати, которую Осьмеркин видел, часто посещая дом режиссера К. Зная некоторые странности любимого режиссера (в частности, его фантастическую скупость), Осьмеркин не удивился и не улыбнулся. Он был малый ироничный и охотно позволял себе смеяться над всеми, исключая режиссера К. Потому что он был умный малый.

Короче, бедняга вызвал грузовое такси и с помощью хорошо знавшей его домработницы режиссера К. доставил необъятную кровать в свою малогабаритную квартиру. Ложе заняло решительно всю жилплощадь, но Осьмеркин терпел.

Вернувшись, режиссер К. не обнаружил своей кровати и пришел в необычайную ярость. Он был человеком наивным в частной жизни и тотчас подумал, что Осьмеркин воспользовался своей кинопопулярностью, чтобы похитить у него родовую кровать. А спать на другой кровати К. не решался – он был суеверен. И той же ночью вместе с двумя оперативниками он ворвался в квартиру к почивавшему Осьмеркину...

Когда все разъяснилось, К, сверкая гневом, вызвал к себе Гошу.

Выслушав громы, Гоша смиренно объяснил, что он отважился сделать это только потому, что всегда помнил поучительный рассказ про чувство юмора у великого М. и рассчитывал, что режиссер К. тоже непременно станет смеяться.

К. вяло улыбнулся и попросил Гошу впредь оставить его в покое.

Время шло.

Женщины по-прежнему влюблялись в Мещерякова. Всех их, независимо от возраста, Гоша называл теперь – «девочка моя». Но пальто в лужу более не бросал, а для романтических поездок к морю у него попросту не было времени.

Если же замечал он теперь привлекательное женское личико, то вяло делал страстные глаза и говорил своим прежним, «красивым» голосом:

– Я вас любил когда-то!

Этим теперь ограничивались его любовная лирика и юмор. Он будто заснул.

Мать Мещерякова:

– Очень я была счастлива, знаете ли. Без отца он рос. Но образование я ему дала. Я сама тоже красивая была, мне еще недавно подружки говорили: «Вставь зубы, Полина, и замуж иди...» Глупости, конечно... Очень я хотела, чтобы Гоша артистом стал. Мы ведь из глухой деревни, мама думала, что в кино не живые люди играют, а рисунки показывают... Сначала я на лесоповале работала – в Эвенкии. Время было тогда суровое, необразованное – у нас в сельсовете даже плакаты висели: «Эвенк, учись пользоваться мылом», а то ели люди мыло... Ну потом в Ивановскую область переехала, на ковровый. Дали нам комнату, потом Гоша артистом стал, по радио часто выступал. Я приемник купила, и как свободная минута – к приемничку бегом, включаю. Но вот беда – голос его не узнавала часто. Прослушаю передачу, и вдруг в конце объявляют: роль такую-то исполнял мой Георгий Андреевич. А я уж к тому времени и содержание-то позабыла. Потом ходишь день целый – мучаешься, содержание вспоминаешь... Да, хорошее было время. Только вот беда – не женился он долго. Я его все в письмах просила: «Женись, Георгий Андреевич, роди внука».

И сам Гоша тоже начал подумывать о женитьбе. Однажды он отдыхал в Подмоскowie в доме отдыха и познакомился там с миленькой девушкой. Была она черноокая, кругленькая – этаким медвежонок.

Когда Гоша узнал, что девушка заканчивает медицинский институт (он с детства очень уважал врачей), ее участь была решена.

Гоша на ней женился. В тот год ему стукнуло тридцать два. Женившись, он, к изумлению всех, сразу покончил с влюбленностями и был верен жене Дунянчику (так именовалась им жена Дуня). Он был заботлив и очень нежен. Это продолжалось год.

Через год Гоша сорвался. Он ушел из дома и вернулся на третий день. Потом повторилось. Он напивался и сразу переполнялся бешенством. Наткнется на взгляд Дунянчика – и вдруг заорет совсем дико:

– Что-то много ходит вокруг Погорельцевых! – В эти минуты он почему-то называл ее только по фамилии. – Они троятся... они свет мне застилают своими толстыми ляжками... Гонят они меня из квартиры в мать-перемать сыру землю...

Дунянчик сразу уходила в другую комнату, а он начинал петь какую-то песню про эту самую мать сыру землю и еще про некий гром гремучий:

*Ты ударь, гром гремучий, огнем-полымем,
Расшиби ты мать сыру землю...*

Самое смешное, в нормальном состоянии он никак не мог ее вспомнить. Он просил Дунянчика даже записать слова, но ей, когда он пел, бывало как-то не до этого.

Спев песню, Георгий Андреевич обычно отбывал из дома, на прощанье яростно хлопнув дверью. А потом наступало раскаяние, и нежность, и щемящая жалость к жене.

Все это обычно настигало Гошу около полуночи.

– Где-то Дунянчик мой сейчас? – говорил он друзьям-собутельникам светлым голосом. – Где-то она сейчас, калинушка-малинушка, лазоревый цвет, репка румяная...

И все понимали, что Гоша отбывает домой.

– Ну, беседа, баста! – объявлял он. – И не удерживайте меня.

Никто его не удерживал. И он уходил.

Но нежность его все увеличивалась, и Гоша некоторое время странствовал по ночному городу в поисках цветов для Дунянчика. И самое удивительное, он эти цветы находил.

Когда раздавался звонок в третьем часу ночи, Дунянчик уже все знала.

– Кто там? – спрашивала она для порядка.

– Дунянчик, открой, это я – московский хулиган.

Она не открывала, но от двери не отходила. Тогда звонок звенел снова, и за дверью печально вздыхали. Потом вздохи становились все горестнее, но звонок больше не звонил. И тогда-то Дунянчик открывала.

Гоша становился на колени и с цветами в руках вползал в квартиру.

– Прости меня, Дунянчик, честна девица, дочь отцакая...

– Я ненавижу тебя! Ты сейчас мне просто противен! – говорила Дунянчик. – Уходи! Уходи!

– А куда же мне деваться без тебя? Пропадать? – вопрошал Гоша, не вставая с колен.

Это, конечно, было выше ее сил.

Она молча гладила его по волосам, а он вручал ей цветы. Затем он поднимался с колен, и начинался ритуал примирения.

– Это кто у меня такой маленький? – интересовался он в четвертом часу ночи, могуче выбрасывая вперед грудь.

Она должна была отвечать ему беспомощным и воркующим голосом:

– Это я.

Тогда он обнимал ее за плечи, прижимал к себе, и голова Дунянчика оказывалась у его груди.

– Это кто у меня такой беспомощный?

– Это я, – говорила она и глядела на него обожающим взглядом.

– Это кто у меня такой нежненький?

После целой вереницы подобных его недоумений и лаконичных разъяснений Дунянчика начинались нежности, и шла заключительная часть покаяния.

– Понимаешь, крик внутри сидит! Крик! Понимаешь?

– Конечно, понимаю, родненький, спи. Она умирала – так ей хотелось спать.

– И сила... сила страшная! Понимаешь?

– Я все понимаю, спи, спи.

– Устать никак не могу... то есть так-то устаю легко... а вот по-хорошему, от дела – не могу! Понимаешь?

– Спи, миленький.

– Смешно сказать, я сейчас вспомнил, как хорошо уставал в юности... когда орал в Доме культуры про Мцыри... Выходило из меня все это вместе с криком... А сейчас во мне все это... Понимаешь?

– Бог даст, уйдет это из тебя, обязательно... Спи.

– Что я играю? Разве с этого уйдет?!

– А ты на кварц ходи. Я тебя на кварц записала, а ты не ходишь...

– Как время-то идет... Мне уже знаешь сколько...

– И ванны тебе надо делать. При тридцать седьмой больнице теперь профилакторий открыли...

– Люблю тебя. Сама маленька... лицом беленька... брови соболями и очи соколы... А дальше... как дальше? Забыл...

– Спи, спи, спи...

Просыпался он поздно и один – Дунянчик была уже на работе.

В театр ему спешить было не надо, в репетициях он не был занят. На столе его ждал завтрак, на стуле висело чистое белье.

«Сволочь! – говорил он себе. – Стариком скоро станешь, а все никак не упрыгаешься».

И все-таки Дунянчик была счастлива: она знала, что когда он пьет, то страдает из-за нее. А это означало, что он ее любит.

Только одно ее мучило: никак не могла она ему родить... И еще огорчало, что он терпеть не мог, когда приходили к ней подруги с работы. А она была особа общительная и не могла без подруг.

Гоша действительно терпеть их не мог. Они приходили, долго пили чай и, поглядывая на Гошу, готовились к расспросам.

В конце вечера начиналось:

– Скажите, Гоша, а правда – вы с А. (известный киноартист) в одной радиопередаче выступали?

– А правда, вы с Б. (другой киноартист) знакомы? А в жизни он такой же красивый?

Он мог рассказать этим раскудахтавшимся дурам, что их любимый А. – редкостный тупица, а что касается Б., то считать его красивым можно только с большого перепоя. Но он, конечно, отвечал, что А. – прелестный и думающий артист и что он недавно удачно женился (в пятнадцатый раз) по любви и что Б. тоже не отстает от А. – он редкостный красавец, труженик и семьянин.

В заключение вечера они с трепетом спрашивали подробности об Осьмеркине, с которым, как они слышали (все это, конечно, они слышали от Дунянчика!), ему выпало счастье вместе учиться.

«Надо же, – думал он, – а еще врачи... Оттого и мрут люди».

И он рассказывал об осьмеркинских прелестях.

А время все шло. В тридцать четыре года он начал седеть.

Как-то очень быстро это случилось: за один год Гоша стал наполовину седым. Эта седина ему пошла – и все шутили, что он нарочно стал седым.

В это же время появились у него и новые увлечения. Во-первых, Гоша превратился в заправского остряка, и еще – он вдруг начал рисовать.

Острил он теперь постоянно и ни словечка не говорил в простоте.

– Как настроение? – спрашивали его.

И он обязательно отвечал что-нибудь вроде:

– Отличное, как у ореха меж дверьми.

Его начали даже немного побаиваться, потому что теперь он все чаще острил по поводу других.

Например, про известного, весьма немолодого актера, который гордился своим обликом и неувядаемым овалом молодого лица, Гоша как-то заметил, что это уже не овал, а обвал лица...

А рисовал Гоша в основном портреты и никому, кроме Дунянчика, не показывал.

Это были неприятные рисунки: люди на них были изображены в виде животных. Например, критика Д. Гоша изобразил в виде сонной рыбы с большими глазами-очками, а одну актрису нарисовал в виде тонкой долгой змейки с изящной маленькой головкой и сигаретой, похожей на высунутое жало.

Рисовал он и автопортреты. Но их он не показывал никому. А потом сжег...

Прошло еще время.

Характер у Гоши вдруг совсем испортился, он начал часто ссориться с людьми. А Дунянчику однажды сказал:

– Ты утром со мной не заговаривай. Утром я – не человек... Потому что за ночь мне разные мысли в голову приходят... Ты утром быстрее уходи, а завтрак я себе сам буду готовить. – Потом увидел ее глаза и добавил, отвернувшись: – Это... пройдет. Вот сменю профессию, и все образуется.

Но профессию он не сменил.

Ему стукнуло тридцать восемь, когда произошла катастрофа.

В тот день он записался на радио в передаче «Опять двадцать пять», и когда он перешел «звучать» в передачу «Ваш друг – спорт», режиссер Ю. сделал ему замечание:

– Гошенька, посерьезнее, мальчик. Вы принесли к нам шутивную интонацию из «Опять двадцать пять»... А мне от вас нужно...

– А мне наплевать, что вам нужно, – вдруг перебил его Мещеряков.

Наступило молчание.

– Что с вами, Гоша? – начал режиссер.

– Какой я вам, к черту, Гоша, какой я вам мальчик? – заревел Мещеряков и, взглянув белыми от ярости глазами, молча вышел из студии.

Он прошел по коридору и в ответ на приветствие редактора передачи «Поет Уральский хор» коротко ответил:

– Ненавижу.

И вышел на улицу.

Вскоре он стоял у дверей квартиры Осьмеркина. Осьмеркин открыл ему сам. Он был в цветастом кимоно, которое ему подарили на кинофестивале в Японии. Другими они никогда не числились, да и не виделись давно, но Гоша заговорил так, будто они расстались вчера.

– Хороший ты парень, Осьмеркин, и георгины у тебя на заднице цветут красивые... Я про тебя столько добрых слов наговорил за это время, что с тебя причитается. Представляешь, как придут к жене подруги – все о тебе пою. Гусяр, да и только... В общем, не хочется мне идти сейчас домой, Осьмеркин, дай мне десятку до завтра. Я отдам.

– Может, старик, зайдешь в квартиру хотя бы?

– Не-а, – сказал Мещеряков. – Я лучше на лестнице постою, на скоростях. А то зайду к тебе – и настроение у меня совсем табак станет.

– Это почему же?

– Это потому, что ты страшно важный парень, Осьмеркин. Я, когда на тебя долго смотрю, всегда начинаю вспоминать: что же я такое важное забыл сделать в жизни? И мучаюсь. Потому что все равно не вспомню. А вспомню – все равно не сделаю. Не сумею.

Осьмеркин понял, что Гоша расположился на лестнице надолго. Он вынес ему десятку и попрощался.

В половине одиннадцатого Гошу сбил грузовик в районе Таганской площади. Гоша был очень пьян, и шофер клялся, что он бросился под грузовик сам. (Потом в протоколе Гоша подтвердил слова шофера, но Дунянчику сказал, что шофер врал, а подтвердил он нарочно, чтобы шофер «не загремел», как он выразился.)

Очнулся Гоша в больнице. Раздробленную ногу оперировали, а на лицо и на голову наложили швы.

Молодого доктора, который «сшивал» Гошу, звали Теодор Ильич, или просто Тэд (так называла его дежурная сестра, у которой был с ним роман).

Потом к Гоше впустили Дунянчика. Она уселась у его постели и, стараясь не смотреть на подвешенную ногу, улыбалась, болтала какой-то вздор. А Гоша подмигнул ей и сказал:

– Доктор Тэд отнял у меня часть ступни. – Он чуть приподнял здоровую ногу и добавил: – И остался я со здоровой ногой «тэд-а-тэд».

И засмеялся. Ну тут-то она, конечно, разрыдалась всласть и выбежала из палаты. Потом долго успокаивалась, наконец подсобралась, вернулась в палату с идиотской улыбкой, но взглянула на Гошу и опять...

Гоша вышел из больницы неузнаваемым: он исхудал, оброс бородой, а голова у него стала совсем белая.

По щеке от глаза до рта шел глубокий шрам. Гоша хромал и передвигался с палкой. Он попросил в больнице не объявлять Дунянчику срок его выписки, хотел сделать ей сюрприз – прийти сам.

День был солнечный, но не жаркий, с ветерком.

Гоша медленно брел к дому тихими переулками, опираясь на палку. С непривычки он скоро устал, зашел в сад «Эрмитаж» и уселся у ограды, подставив голову ветерочку. «Как хорошо! Надо же, какое счастье – самому ходить! Как все просто, оказывается...» Он сидел в сквере, искалеченный, отдыхал и впервые за последнее время был счастлив. Ничего, кроме ощущения блаженства и покоя, и никаких мыслей.

И тут Гоша увидел знакомую фигуру. По центральной аллее от ресторана стремительно шел кинорежиссер Пилар. Он совсем не изменился за это время: такой же мальчишкообразный, в черных очках, в черных блестящих волосах, только под черной кожаной курткой была надета белая водолазка – вот, пожалуй, и все. Гоша поздоровался.

– Здрассы, – прошелестел Пилар и унесся к выходу.

«Спешит, все спешит», – сказал себе Гоша.

Но у самого выхода Пилар обернулся и медленно пошел обратно. На его лице было мучительное раздумье – он вспоминал... Потом физиономия засветилась облегчением – вспомнил.

– Изменился? – усмехнулся Гоша.

– Да, – ответил Пилар, – но у меня прекрасная память на лица...

Он остановился у скамейки и, не стесняясь, во все глаза разглядывал Мещерякова.

Кинорежиссер Пилар:

– Я сразу понял: это был выигрыш – сто тысяч по трамвайному билету. Это было – лицо! Резкий шрам придавал мужественность... еще что?... загадочность... что еще?... пикантную грубость. Герой вестерна... Борода – это банально, я сразу понял, что мы ее сбреем. Худоба была чудесная... Резкие морщины, огромные глаза – все нужно было оставить, это в стиле Эль Греко... Великолепные седые кудри! Нос – скульптура... рот мужской, сильный, чувственный... Но главное – глаза... да, попереживал он всласть... и добрые при этом... И никакой сытости, никакого актерства, пошлости!

Тут я понял, что ему очень хочется двинуть мне по роже палкой. И я поспешно спросил: «Как вас разыскать?»

Вскоре Гоша репетировал на телевидении Егора Булычева в постановке Пилара. Когда «Булычева» показали, о Гоше заговорили все.

Критик Д. (по телефону):

– Я очень рад, что вы позвонили. Я сейчас заканчиваю книгу о нем. И как-то во всем разобрался, «подытожил», как любил говорить покойный критик Е. Понимаете, что тогда получилось: Гоша действительно блестяще сыграл Булычева. Но кроме того, и внешний облик его представлял, если хотите, некоторый фокус. Его лицо, фигура, движения – от всего исходила сила, бешеный темперамент и почти животная жажда жизни... а в его глазах, каких-то блестящих, плачущих, что ли, было... нет, не страдание, не боль... а что-то... Это будоражило, создавало загадку. Кроме того, Мещерякову исполнилось тогда сорок, он ничего не добился в жизни, он был почти калеккой. Короче, возник тот редкий случай в искусстве, когда у сорокалетнего, очень талантливого актера совершенно не оказалось завистников – все искренне радовались за него и восторгались его успехами. Правда, я помню, что, как правило, эти восторги завершались фразой: «Я особенно рад (рада) за него – ведь ему так сейчас плохо». В этом звучал некий снисходительный подтекст: «Если бы не несчастье, я, может быть, и был (была) куда более строг (строга)» – и намек на то, как хорош говорящий... Но это было все на первом этапе... А через год Гоша сыграл в «Скучной истории» в постановке того же Пилара, и все мы поняли: новое чудо – явилось! Фильм завоевал премию в Лондоне, и Гоша был избран английскими критиками актером года. Начался второй этап. Он «ознаменовался», как любит писать критик С., моей статьей о нем... Она неплохо называлась: «Страдание? Нет, сострадание!» По существу, многим эта статья попросту открыла Мещерякова. Да и сам он так считал. Он любил эту статью.

Помнится, в то время, встретив критика Б., я назвал Гошу «самым обычным великим актером». Я не боюсь сказать, что, к сожалению, не заметил этого вначале... Ну что ж, мне это урок, милостивый государь. Как там у Федора Михайловича Достоевского – «Не презирай мовешек». Вообще тема ожидания чуда в искусстве, как я ее раскрыл в своей книге, мне кажется очень современной.

Критик Д. был прав. Действительно, после «Скучной истории» – началось! Эпидемия!

Режиссер В., надумавший в то время ставить на телевидении «Отелло» («Я мечтал об этом двадцать лет!»), встретил на улице критика Е.

– А хотите, я вам скажу, кто может у вас сыграть Отелло? – сказал ему критик Е.

– Знаю, – вздохнул режиссер В. – Я знаю об этом уже десять лет. (Он любил долголетие.)

– Вы слышали, режиссер Пилар будет ставить «Идиота» на телевидении. Как вы думаете, кто будет играть у него Рогожина? – спросила критик 3-а режиссершу В-у, встретившись с ней в «Пассаже».

– Он, – тотчас ответила В-а.

Так Гоша перестал быть «Гошей» и стал именоваться «Он», как и полагается богу.

И восторженная и вечно влюбленная критик П-а подытожила на пляже в Коктебеле:

– Он может все!

Он действительно мог тогда все.

У него оказалось разное лицо. Все возрасты были доступны этому лицу и все состояния. И речь его, годами разработанная на радио, была поразительно гибкой. Но главное – во всем этом разнообразии Гоша был удивительно естествен...

Критик Д.:

Он играл в самой современной манере, так, как научился во время долгих сидений на репетициях замечательного режиссера К.: изысканная нервность, безукоризненного вкуса сухость в сочетании с бьющими наповал двумя-тремя кусками роли, в которых проглядывал его бешеный темперамент, старательно сокрытый во все остальное время. Но когда кинорежиссер Пилар предложил Мещерякову сыграть Рогожина, он решил отважиться сыграть его несколько иначе, как умел только он. Об этом рассказывал мне сам Виктор Пилар. Ну что ж, Мещеряков уже мог позволить себе играть так, как хотел. Он был богом, и вокруг него, как вокруг всякого бога, уже собралось много нас – жрецов, обязанностью которых было поддерживать веру в него... «Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан?» – сказано у Федора Михайловича...

Критик Д. опять был прав: Гоша был заранее избавлен от провала. Но все-таки он очень боялся неудачи – слишком долго ему не везло в жизни. И поэтому, кроме Рогожина, он согласился сниматься еще в двух «главнюках» и готовился их сыграть так, как от него ждали.

Работал он лихорадочно и совсем исхудал, к ужасу Дунянчика. Лицо его было теперь переплетено мелкими морщинками и напоминало вблизи печеное яблоко. Но в гриме он был красив совершенно. Теперь его красота уже никого не пугала.

Из театра режиссера К. Гоша ушел. У него не было теперь времени играть маленькие роли, а ничего другого режиссер К. ему по-прежнему не предлагал. (К. не видел его последних работ. Он считал, что кино развращает актера большими деньгами и легкой славой, поэтому в кино не ходил принципиально.)

В тот день Гоша пришел в театр получить трудовую книжку и проститься.

Он попрощался со всеми и выслушал безнадежные просьбы директора остаться. (Директор понимал, что на прежнем положении Гоша не останется, а убедить в чем-нибудь режиссера К. мог только сам режиссер К.) Наконец Гоша покинул кабинет директора и, опираясь на палку, пошел по фойе к выходу.

Из буфета навстречу ему шел сам режиссер К.

Это был подарок! Мещеряков ждал этой встречи. Все последнее время – ждал. Он даже приготовил фразу для нее!

Он остановился и, опираясь на палку, стал ждать. К. медленно шел по фойе, ему не хотелось встречаться с Гошей, но это было неизбежно.

Мещеряков не видел К. около года и сейчас в солнечном свете вдруг заметил, как тот постарел.

Они поздоровались.

Режиссер К. остановился и спросил отсутствующим голосом:

– Как себя чувствуете?

– Спасибо, сейчас хорошо.

– Желаю вам всяческих успехов. Жаль, что вы от нас уходите... – произнес К. все тем же отсутствующим голосом, напряженно думая о своем. И пошел дальше по фойе.

И тогда Мещеряков сказал ему вослед:

– А вы были правы – искусство требует жертв.

Это была приготовленная фраза.

К. остановился, помолчал несколько секунд, видимо, пытаясь справиться с мыслями, которые были, как всегда, весьма далеко. И медленно повторил, будто вдумываясь:

– Искусство... требует... жертв? – И вдруг добавил жестко, как выстрелил: – Нет. Времени оно требует... долгого времени...

И прошел мимо. Режиссер К. спешил тогда в макетную. Войдя, он задернул шторы, уселся в кресло и зажег макет декораций новой постановки. И более уже не вспоминал о Мещерякове.

Новая постановка режиссера К. называлась «Прикованный Прометей» Эсхила.

Лето в тот год было очень жаркое, но Мещеряков не отдыхал. Он спешил отсняться в двух «главнюках», чтобы освободить время для Рогожина.

Дунянчик наконец родила ему дочку (ее тоже называли Дунянчик), и Мещеряков в мае снял для них дачу под Москвой. На субботу и воскресенье он всегда приезжал туда, но в последний месяц заехал только дважды.

Мещеряков влюбился.

Она работала на киностудии художницей по костюмам.

Ей было двадцать три года, она была хороша, по-современному хороша, то есть тонка, длинна, с узкими бедрами и копной пепельных волос. Сначала она была польщена ухаживанием «великого» (как все серьезно-шутливо называли на студии Мещерякова).

Она жила в однокомнатной кооперативной квартире в Гольянове. Ее дом был последней новостройкой, балкон выходил прямо в лес, и было очень удобно загорать прямо на этом балконе.

Она ошеломила Мещерякова сменой настроений.

Сначала без умолку острила о своем балконе, потом объясняла, как соскучилась по людям, которые ни на что не жалуются, и при этом хохотала, а потом вдруг впала в состояние нервной грусти – и у нее даже показались на глазах слезы.

Она ушла на балкон, Мещеряков – за ней. Она снова начала объяснять ему все преимущества балкона, и он ее молча поцеловал. И удивился, как ему стало хорошо.

Весь следующий день он был счастлив и все время вспоминал, как она наклонила голову, как падали вниз ее волосы и как сказала ему утром: «Ну, прощай, малыш». Называли его по-разному, но «малышом» – никогда.

На следующий день после съемки он дожидался ее у проходной. Она увидела его, взглянула почти изумленно и сказала:

– Разве я с вами условилась?

– Я просто подумал, девочка моя...

– А вам не кажется, что вы назойливы, сэр?

Самое удивительное, Мещеряков проглотил эту фразу и засмеялся.

– Я рада, что так получилось, – сказала она. – Но давайте наперед: мы будем с вами встречаться, когда я этого захочу.

– Мы можем вообще не встречаться...

– А мне как-то все равно, – ответила она, и на лице ее появилась уже знакомая нервная грусть.

И началась страшная жизнь. Она была первой женщиной, которую он любил и которая совсем его не любила. Он запутывался все больше и больше.

Ему все время казалось: вот сейчас он ее завоюет, вот сейчас станет она наконец покорной, сладостно-покорной, как были все до нее, вот сейчас, сейчас...

Но проходили дни, и он не заметил, как она уже стала при всех издеваться над ним... А он терпел все за редкие встречи.

Она уже прямо объясняла ему, что совсем его не любит, что он попросту стар для нее, что это был эпизод, и он исчерпан. Но ему все казалось уловками. Он хотел верить, что она оскорбляет его нарочно, от обиды за то, что он живет с ней, но не уходит от жены. Он объяснял ей, что не может уйти из семьи сейчас, когда Дунянчик только что родила. А она смеялась и говорила, чтобы он и не думал уходить, так как ей это совершенно ни к чему. Но он и эти ее слова объяснял обидой.

«Последняя любовь – от черта» – кажется, так говорят...

У него выдался перерыв в съемках на неделю, но она по-прежнему не встречалась с ним: объясняла, что живет у матери, которая заболела. Тогда он сам приехал к ней ночью – и она, конечно, была дома. Он вошел в квартиру, увидел разобранную кровать, мужскую рубашку на стуле...

– Уже ушел, – сказала она и засмеялась.

Он ударил ее, она ответила. Они молча дрались, как мужчина с мужчиной. Он выволок ее на «удобный балкон, выходивший в лес» и, потеряв рассудок, в бешенстве перегнул ее через решетку. Только тогда она вскрикнула, и он отпустил ее. Она заплакала.

Он сел на пол балкона. В эти мгновения он невероятно ее любил, и ему казалось, что она тоже умирает от раскаяния. Но она плюнула ему в лицо и сказала сквозь слезы, что ненавидит его, что он старик и урод, что он ей опротивел, что она прокликает тот день, когда она с ним связалась...

Она выкрикнула все это хриплым от страха шепотом и рванулась с балкона в комнату. Входная дверь захлопнулась – она убежала.

Мещеряков некоторое время сидел на бетонном полу – что-то сильно болело у него в руке, а потом в груди. Когда отошло, он поднялся и пошел прочь из пустой квартиры.

Он поймал такси и поехал на дачу. Там прошел в свою комнату, заперся и в первый раз после катастрофы напился. Потом, ночью, вошел к Дунянчику, дотронулся до ее лица в темноте – хотел проверить, плачет ли она... Она плакала. Он сказал:

– Все. Клятву даю – все.

Он попытался обнять ее, но она оттолкнула его, и он упал: он плохо ходил без палки. Она тут же бросилась его поднимать, а он повторял все время:

– Вот увидишь... Все...

Когда Мещеряков проснулся, стояло чудесное утро. За завтраком Дунянчик дала ему телеграмму из Ленинграда (телеграмма пришла вчера вечером, когда он был в Москве).

«Просим прибыть шестнадцатого десять утра пробу Рогожина тчк Пилар». Шестнадцатое было завтра.

Он сказал, что позвонит в Ленинград и постарается перенести пробу, но Дунянчик промолчала: она боялась, чтобы он оставался сейчас в Москве.

Он пошел на станцию звонить в Ленинград. Она проводила его до калитки с маленькой на руках. У калитки они простились на тот случай, если ему придется все-таки уехать в Ленинград. Он поцеловал ее и вдруг сказал:

– Вспомнил!

*Собою маленька, лицом беленька,
Брови соболю, а очи соколы,
Глаза с поволокой, а рот с позевотой,
А сзади коса – девичья краса.*

И засмеялся. Потом еще раз поцеловал ее и дочку и сказал:

– Тебя люблю.

И пошел, тяжело опираясь на палку. А она, как всегда, заплакала – никак не могла привыкнуть к его походке.

Он добрел до почты и позвонил в Ленинград.

Телефонистка его узнала и, хихикая, сразу соединила.

Пилар сказал Мещерякову то, что говорят в подобных случаях все кинорежиссеры: что съемка уже назначена и поэтому мир обрушится, а его, Пилара, съест живьем директор студии, если Мещеряков не прибудет шестнадцатого.

Гоша отлично знал, что в кино все – срочно, и тем не менее все удивительно легко переносится и, как оказывается потом, даже с пользой для дела. Он все это знал, но ответил Пилару, что приедет к утру в Ленинград. Ему хотелось работать и тяжело было оставаться в этом городе: ему опять начинало казаться, что она раскаивается и ждет его.

И он пошел на электричку.

Он шел по тропинке через березовую рощу и думал о роли. Думать о роли было удобно, потому что тогда он думал и о ней. Он решил выбрать для пробы эпизод «После убийства Настасьи Филипповны», когда Рогожин показывает ее тело князю Мышкину.

Мещеряков знал, как убил Настасью Филипповну Рогожин – это он теперь точно знал...

Так он прошел метров двести и остановился – он сильно устал, был совсем мокрый, и остро болело в груди. Отдохнув, он пошел дальше.

Когда он вышел из рощи, электричка подходила к станции. Он решил успеть на нее. И побежал, низко приседая и радуясь, как весело он торопится – совсем как в детстве.

Электричка уже остановилась, когда, схватившись за перила, он начал скакать вверх по ступенькам платформы.

Его обгоняли.

Впереди бежала девушка, волоча за собой мешок. Из мешка сыпались огурцы, стуча по доскам, и он, чтобы не споткнуться, все время глядел себе под ноги.

Раздался гудок электрички.

Два матросика держали плечами двери вагона – не давали захлопнуться. Девушка с мешком уже вскочила в вагон, и он увидел ноги девушки, мучительно стройные, загорелые, совсем ее ноги.

– Давай, отец! – кричали матросики, все придерживая плечами двери.

Мещеряков был молодцом – он почти успел на электричку. Он уже был на верхней ступеньке, но вдруг остановился, постоял и упал спиной назад – вниз, по ступенькам платформы.

В пять часов вечера того же дня июльское солнце висело за высокими окнами театра, и тяжелые портьеры были опущены. Только в дальнем конце фойе, у входа в буфет, занавеси были отдернуты, и солнце лилось потоками на пол, на стены – горели стекла актерских фотографий и сверкал паркет.

В затененной части пустынного фойе (в театре был выходной) сидели двое: режиссер К. и молодой критик Ф. (После размолвки между режиссером К. и критиком Д. по причине восторженных отзывов о Мещерякове критик Ф. занял место главного почитателя режиссера К.)

Критик Ф. только что посмотрел макет декорации «Прометей», после чего сделал несколько кругов по фойе и уселся молча рядом с режиссером (это круговращение означало: макет прекрасен и слов нет).

Макет «Прометей» был действительно прекрасен.

– Я уже представляю себе фигуру Осьмеркина в этих декорациях, – сказал наконец Ф.

Режиссер К. чуть улыбнулся:

– Осьмеркин – это Прометей из НИИ. Нужен совсем другой актер, молодой, максимум двадцать два года, и красавец обязательно, ведь Прометей – из племени богов. И здоровенный красавец, потому что украсть огонь – это тяжело. Для этого нужна сила! Итак, молодой, атлет, совершенное тело... И эта роскошная плоть, созданная для радости, для любовных утех, – взамен уготовленного ему рая – выбирает скалу!

Молодой критик Ф. слушал, затаив дыхание. К. продолжал:

– Недавно я слушал пластинку Остужева, его монолог Отелло. Когда-то мне казалось, друг мой, что все это несколько... ну, скажем, наивно. А сейчас – изумился. Грандиозная личность! В нем – двадцать планов! А в Осьмеркине – два, Осьмеркин – обычен. Он общий, он везде... Вчера я перелистывал фотографии греческих скульптур, – говорил К., уже перепрыгивая на новый предмет. – Один мрамор поразил: хохочущий юный Марс, сделанный в Коринфе... Ночью он даже мне приснился...

Режиссер К. не позировал. Он действительно видел это лицо во сне и даже придумал ему название: «Смеющийся Прометей». Он похитил огонь и смеется от восторга, от своей силы! Он готов на любые муки в борьбе с богами, но он еще не знает, что боги ему придумали самую страшную – неподвижность. И не боль ему будет страшна, и не коршун, клюющий печень, а это бездействие – вечное бездействие, ужасное для всякой силы...

И в упоении от грядущей работы режиссер К. зашагал по пустому фойе, туда, в дальний угол, к буфету, где горел луч солнца. Он прошел сквозь строй вечно молодых лиц своих актеров на фото, бормоча под нос стихи Эсхила и слыша за спиной восторженные вздохи юного критика.

Он дошел почти до входа в буфет, утонул в столбе солнца – и замер.

Со стены, сверкая стеклом, смотрело на него лицо молодого Мещерякова.

Да, это был он – «Смеющийся Прометей».

Еще раз про любовь

Он вышел из сутолоки вокзала и увидел пустынный прекрасный город. Было утро.

(А можно начать так, если пропустить поезд, пробуждение под мерзкую музыку-побудку вагонного репродуктора, очередь в туалет, надвигающийся за окном город с нищими домами-коробками и унылой грязью... и лицо в заплеванном зеркале в туалете – помятое, уже старое лицо... Начать так: «Жил-был я». И уже потом: «Он вышел из сутолоки вокзала и увидел пустынный прекрасный город».)

Было утро. Было раннее утро.

Он занял очередь на такси и, радуясь, как ловко, расторопно он все сегодня делает, отправился звонить на студию. И сразу дозвонился.

– Диспетчер Андреева, – ответил голос.

– Я... я писатель...

– Кто вы? Говорите, пожалуйста, громче!

Он, как обычно, бестолково объяснил, что он – автор сценария, приехал на картину «Варенька» и что ему должна быть забронирована гостиница.

– Секундочку... – сказала женщина. – Пока, к сожалению, ничего. Но этим занимается Бродецкий. Позвоните через час.

Он огорчился. Он загадал, что сегодня у него все будет ладно с самого начала. В последнее время от частых неудач он стал суеверен. Он позвонил Режиссеру домой.

– Аллю! С приездом, парень! С гостиницей в порядке?

Он сразу понял, что Режиссер все знает, но ответил.

– Вот гады, – радостно сказал Режиссер. – Но вообще-то они не виноваты. Это сейчас на всех картинах такое положение с гостиницами. Конгресс какой-то.

– Я понял. Я – без гостиницы, но не потому, что не уважают твою картину.

– Парень, ты с какого года, ты с какого парохода? – засмеялся Режиссер. Эта дикая фраза означала у него почему-то шутку.

Договорились встретиться через час. Он позавтракал и через час был на студии. В вестибюле его встречал юный брюнэт с радостно-развратным лицом. Это был Второй режиссер Сережа.

– Конечно, нету?

– Но ждем его с минуты на минуту, – весело ответил Сережа.

Все было как всегда. Режиссер не спешил, да и зачем спешить? Все в порядке – автор приехал, куда теперь торопиться? Он не осуждал Режиссера – снимать картину трудно, и надо экономить силы. Сейчас Режиссер завтракал и экономил силы.

– Гостиницу ищут, – счастливо сказал Сережа.

– И скоро найдут?

– Скоро, – веселился Сережа. – Сам Бродецкий занимается.

И подмигнул. Самые обычные фразы он умудрялся произносить неприлично.

В вестибюль вошел еще один юный брюнэт, постарше, но все с тем же хамовато-развратным лицом:

– Похудел, помолодел, зазнался!

Он с изумлением понял, что Сережин двойник обращался к нему. Откуда-то он знал этого типа... А может быть, и не знал. Может быть, просто видел в каком-то фильме. А может быть, и не видел. Может быть, даже тип его не знал... Здесь это было несущественно. Здесь была киностудия.

– Ну, как ты? – живо поинтересовался двойник.

– Я? Ничего.

- А вообще?
- Тоже ничего.
- Ну вот и хорошо.

И Сережин двойник сложил руки загончиком, поймал его голову, и они радостно расцеловались.

– Анекдот хочешь? Летят два кирпича с крыши. Один другому и говорит: «Что-то погода сегодня плохая». А другой кирпич отвечает: «Это ничего. Лишь бы человек попался хороший». Смешно... Говорят, ты что-то хорошее написал? Я не читал, но все хвалят.

– Спасибо.

– «Спасибо» в ж... не засунешь. Ты для меня когда написать думаешь? Мне нравится, как ты пишешь. Ты пишешь с х...м. Напиши про тренера. Ты видел этот японский фильм?

– Видел, видел.

Он боялся, что брюнет начнет пересказывать японский фильм.

– Ну где же ты? Мы все тебя ждем, а ты тут ля-ля...

В вестибюль вошел Режиссер.

– Хорошо выглядишь, парень. – Режиссер выставил руки знакомым загончиком, поймал его голову, и они радостно расцеловались.

И тотчас перед Режиссером возник Сережа-первый.

– Сережа – мировой парень, – сказал Режиссер. – Но у него маленькое хобби: ленив, болтлив и обожает удовольствия. Чувственен до озверения. Он у нас здесь – сектор сладкой жизни. – И добавил заботливо: – Что с его гостиницей, Сережа?

– Скоро будет. Бродецкий занимается...

Потом они мчались по бесконечному кругу-коридору... На этом чертовом круге все бежали, не забывая общаться на бегу. И Режиссер тоже общался:

– Здравствуйте! Автор приехал. Вытащил в кои-то веки. Смотри, как выглядит, – красавец! Ну еще бы, проживает сейчас на юге в городе-курорте, бары у них там, солнце утомленное, а мы с вами в таком климате живем – того и гляди снег пойдет... Главное сейчас нам с тобой переделать начало и конец. Здесь ты больше всего врешь. Ха-ха, отец, не обижайся... Здравствуйте! Это автор – вытащил в кои-то веки. Знакомьтесь. На юге проживает... Значит, о начале картины... Здравствуйте! А это – автор! Вытащил, живет на юге. Как Чехов, в ласковом солнце живет – вишь, какой кругленький, загорелый, а мы тут с вами на ладан дышим... Значит, о начале картины. Они у тебя знакомятся на эк... экс... на экска... латоре... Слово дурацкое. Но вообще-то красиво: ночь, поднимается абсолютно пустой эк... скалатор... и на нем двое. Только двое. И вот уже он познакомился с ней...

Он познакомился с ней, когда учился в университете. Она шла впереди него в густой толпе к эскалатору.

Он сразу удивился, как прекрасно она шла, будто танцуя. Он обогнал ее, оглянулся и обрадовался прелести ее лица. Он заговорил. Когда он заговаривал с незнакомыми девушками, они или торопливо хихикали, или отвечали независимо-грубо. Но при том и те, и другие заботились о произведенном впечатлении. А она не заботилась. И сразу поразила его этим. Он рассказал ей тогда какую-то историю, прекрасную историю, которую он где-то прочитал. Он тогда много читал. А она посмотрела на него круглыми зелеными глазами и сказала:

– А я этого и не знала...

Ему было с ней легко. Сразу легко. Он проводил ее домой, и она сама его спросила:

– Когда мы встретимся?

(– Я тебя пожалела тогда в метро, ты очень смешно выпячивал грудь, когда подошел ко мне. И я сразу все про тебя поняла... Мне стало тебя жалко, потому что ты был совсем один... один-один! А вот потом, когда ты меня проводил, уже не жалко... Потому что я подумала – ты и есть «кумир»... – Она засмеялась. – Понимаешь, у девушки странная привычка кому-то

поклоняться. И как раз перед тобою закончилась неудачная любовь. Как положено дуре, сначала девушка жить не захотела. Ну а потом... воспрянула духом, все косточки свои в порядок привела и дала себе слово со всеми «кумирчиками» завязать... Ха-ха-ха... Независимость и мужественность на повестке дня у девушки! И вот некстати появился ты.)

Но это все она говорила ему потом. И смеялась каким-то глупеньким смешком.

– Особенно мне не нравится ее первая фраза на эска... латоре. Понимаешь, это первая ее фраза! И она должна быть на сливочном масле!

Как все просто! Не будь того эскалатора, и не было бы перед ним Режиссера, Сережи, этого безумного коридора и всей его нынешней жизни.

Они дошли до двери, над которой висела табличка с названием картины – «Варенька». В комнате их встретил все тот же Сережа, оживленно беседовавший с молодой красавицей.

– Ты посмотри, – сказал Режиссер, – куда ни приду – всюду он! Только не в павильоне! Только не на работе!

Сережа весело хохотал.

– А это наша единственная, наша распрекрасная...

Девушка покраснела.

– Когда я прочел сценарий, сразу сказал себе: ну, кто сможет ее сыграть? Только она... А это – автор. На юге живет, купается, пока мы с вами над его сценарием уродуемся.

Вошла Женщина с никаким лицом.

– Ведите ее в павильон, через пятнадцать минут начнем.

– Платье для «Длинного дня»? – спросила женщина.

– Утверждаем.

И Актрису увели.

– Платье, конечно, хреновое, – сказал Режиссер Сереже, – но лучше все равно не сделают. А ты все время болтаешь, болтаешь... Ну чего ты с ней болтаешь, все равно тебе она не даст. Лишь бы не работать!

Сережа заливался смехом.

– Для его жены я – жуткий тиран. Сережа говорит жене, что я его все время вызываю на ночные съемки.

Сережа умирал от смеха.

– Сережа, ты, по-моему, надолго здесь расположился, а зря: мы ведь с автором работать пришли. Ра-бо-тать! Я понимаю, ты забыл, что есть такое понятие...

Сережа все умирал от смеха.

– Так что, Сережа, сыграй в человека-невидимку – кино про него смотрел? Про книжку я тебя не спрашиваю – понимаю, здесь не читают книжек. Это – киностудия.

И Сережа исчез за дверью.

– Если три процента задуманного они выполняют – считай, ты счастливчик... Значит, о начале картины...

Режиссер походил из угла в угол, что означало раздумье. Он остановился у окна и зябко потер руки над батареей, как над костром, – это означало отчаяние.

– Жить не хочется и просыпаться ни к чему.

– Почему так?

– Остроумный вопрос. Ты там на солнечном пляже, а я тут уродуюсь по две смены, пытаюсь воспроизвести то, что ты написал. Может быть, в повести это все как-то выглядело, но когда мы начали снимать...

Это был ораторский прием. Каждый раз, когда Режиссер хотел что-то переделать в его сценарии, он начинал с такой трагической ноты. Это называлось «подавить противника».

– Редактора найти не могу. Соловейчик прочел твой сценарий и сказал: «Это ниже разговора». А Соловейчик – петербургский интеллигент в десятом поколении... Ну, хрен с ним, с Соловейчиком. На сколько приехал? На сутки, конечно?

Вообще он приехал на два дня. Режиссер об этом знал, более того, они так и договаривались. Но ему вдруг стало отчего-то неудобно, и он промолчал.

– Значит, на сутки приехал? Задержись. Работа нам предстоит с тобой большая. Речь идет о судьбе картины. В таком виде сценарий снимать нельзя. Нечестно. – Режиссер вдруг закричал: – Работа предстоит огромная! – И добавил нежно: – Что ты молчишь?

Он знал, что вся огромная работа сведется к тому, что Режиссер приведет его домой и, пылая от нетерпения, прочтет кусок текста, который сочинил сам, уже прочитал своей жене, и они с ней всласть насладились этим творением. Люди обожают заниматься не своим делом: комики пытаются быть трагиками, поэты – драматургами, драматурги – прозаиками, актрисы – играть мужские роли... Что ж тут особенного – Режиссер хотел писать.

– Что ты молчишь?

И еще он знал конец: устав от выматывающих споров, от заискивающих режиссерских глаз, от торопливых пришепетываний его жены («Умоляю, верьте ему! Он талантлив! Мне неудобно об этом говорить, я жена, но он безумно талантлив!»), он, подправив самые ужасные фразы, согласится со всем, только бы уехать из этого сумасшедшего дома назад – к морю и солнцу... И Режиссер будет провожать его на поезд, они зайдут в ресторан и после на прощанье будут объясняться у поезда в творческой любви.

– Что я предлагаю... – В руках Режиссера появилась папочка. – Ну, сначала о мелочах. Мне очень понравилась такая фраза... я ее услышал в троллейбусе... ты ведь редко ездишь в общественном транспорте... значит, фраза: «Хоть плохонький, да свой». И еще: «Сижу одна и кукую»... И еще третья фраза... Вот черт, склероз... забыл! Но это все мелочи. Теперь главное: я не требую авторских, но то, что я придумал для финала... Когда я прочитал Вале... Ей плевать, что я муж, я слышу от нее иногда такие вещи...

– Я понял.

– Короче, мне неловко говорить, но словечко «гениально» мелькало. – Режиссер засмеялся. – Итак, читаю новый финал нашей картины. Повторяю, авторских не требую.

И Режиссер замолчал.

– Ну и что же ты не читаешь?

В ход опять пошла батарея – Режиссер зябко потер руки над воображаемым костром.

– Короче: я все время думал, почему у тебя она погибла?

В комнату заглянул Сережа.

– Мы работаем! – бешено заорал Режиссер. Сережа исчез.

– Понимаешь, смерть... – Это уже было доверительное шептанье. – Я пытался даже переставить эпизоды; всунуть ее гибель в начало, перед первой сценой на экс-ка... экс-ка-ла-торе, проклятое слово... Я все делал. И тут я пришел к выводу... сейчас ты меня убьешь... – И Режиссер прокричал: – Она не погибла! Только сразу не отрицай!

Он молчал. И Режиссер, все еще не решаясь на него посмотреть, заговорил скороговоркой:

– Она осталась жива. Финал другой. Мне рассказывали недавно эпизод... фамилии не называем... она изменила ему, а он ее любил, любил по-страшному... – У Режиссера в глазах были слезы, он легко возбуждался. – И когда он все узнал, ворвался к ней домой и ударил ее. И при этом любил! Смертельно! И вот во время драки у нее задирается юбка... И когда он видит... В этом правда! Жестокая правда! Старик, какой эпизод! Они катаются по полу и... А потом лупят друг друга... И опять... Дерутся и е...ся! Бац! Бац!.. Какой эпизод! Вот что такое – на сливочном масле!.. Я предлагаю финал – помнишь, они у тебя ссорятся перед финалом? И вот в результате бешеной ссоры они...

– Трахаются.

– О, если бы! Да кто же это нам разрешит?! Но намек! Священная неясность! Два тела... точнее, тени, силуэты, и они не в постели, а в небе, они летят, как у Шагала, над домами, над миром! И только обнаженные руки, женская и мужская, тянутся друг к другу – но тщетно... В этом смысл того, что ты написал! А твоя катастрофа в финале – это по-детски банально! – Режиссер развивал наступление. – И когда старый маразматик Соловейчик после читки задал вопрос: «Почему она погибла?» – я не мог ему ответить!

Почему она погибла...

Пока я не пойму надсмысл сей смерти – это всего лишь сентиментально! Карамзин! А мне дай сливочное масло! Миры! Пока я не пойму, я не могу снимать! Что ты молчишь?

Почему она погибла? И когда она погибла?

А тогда было только начало. Были просто солнечные дни, и ему нравилось, как она идет своей танцующей походкой, и как все оборачиваются ей вслед, и как она по-птичьи порывиста, и как радостно красива.

Я не опоздала?

Она никогда не опаздывала. В крайнем случае добиралась на микроавтобусах, на грузовичках, даже на поливальных машинах! Если в назначенный час у метро останавливалась какая-нибудь нелепая машина – это была она.

Можешь меня чмокнуть в щечку. Нет-нет, чемоданчик не трогай. Я сама. Я потом как-нибудь нарочно устану для женственности и попрошу тебя понести... Что ты улыбаешься?

Я не улыбаюсь.

Нет, ты улыбаешься. У меня смешной вид, да? Просто у девушки в руках – два места: сумочка и пальтишко. Как я вышагиваю с тобой важно, ха-ха-ха! Нет-нет, чемоданчик не трогай!

Она боялась любой его помощи.

Это не нужно девушке. Чтобы не смягчать. А то не заметишь и опять влопаешься в привязанность. А потом отвыкать трудно. Лучше подбадривать себя разными глупыми, грубыми словечками – опять же, чтобы не смягчать. А то хорошо мне – я плачу, плохо – реву, слезы у меня близко расположены, думаю я себе.

«Думаю я себе» – одно из выражений, которыми она себя «подбадривала». Другое – «ужасно».

По дороге ее посещали самые внезапные мысли, и тогда она вдруг вцеплялась в его руку и произносила, расширив зеленые глаза:

– Ужасно!

Но добиться от нее, что именно «ужасно», было невозможно. Она шла и молча шевелила губами – это она так беседовала сама с собой. А через несколько дней вдруг говорила:

– Знаешь, мне приснилось в ту ночь, что тебе стало плохо-плохо и ты остался совсем один, какой-то разорившийся, никому не нужный, «изгой», как говорит бабушка Вера Николаевна. И я тебя так жалею, ну до слез, а помочь почему-то не могу, не пускают меня к тебе... Представляешь, мы с тобой шли тогда – и я все это вдруг так отчетливо увидела!

Но все это она говорила ему потом...

В комнату весело ввалились все те же: Женщина с никаким лицом и радостный Сережа.
– Время, Федор Федорович!

Режиссер принял величественный и таинственный вид – такими иногда бывают женщины перед родами.

– Пора в павильон! Со мной пойдешь или здесь над финалом подумаешь?

– Над финалом я думать не буду. Финал будет прежний.

– Парень, так не пойдет. Я прошу тебя о минимуме – другие режиссеры вообще ничего не просят. Они просто не разговаривают с авторами, они их переделывают. – Режиссер распалял себя. – А я прошу! Я объясняю, почему меня жмет! А ты...

Когда напечатали его повесть, некая критическая дама, существо некрасивое и оттого, естественно, умное и злое, сказала, яростно улыбаясь:

– Милая повесть. Можно, конечно, писать и получше, но сейчас это необязательно. Восхитительна главная героиня – святая. Это своего рода новаторство. Последние удачные жития святых были написаны в пятнадцатом веке.

Он горячился и, стараясь оскорбить даму, заявил, что его повесть нелегко читать женщинам, столь разительно похожим на каракатиц. Он хотел ее обидеть... Зачем? Она была не виновата. Она никогда не любила. И ее не любили. Никогда. И оттого она была так яростно деловита и с такой страстью занималась уймой важных и серьезных вещей, которые в конечном счете оказываются такими неважными и несерьезными...

А она – любила. И поэтому повесть имела успех. Ему повезло с ней. Ему попалась прекрасная она. Это самое важное, если ты стараешься писать правду. А он тогда старался.

– Если хочешь знать правду – надо переписать полсценария! – прокричал Режиссер, уже стоя в дверях. Чтобы весь коридор слышал, как он управляется с автором. И как он несчастен. – Скажи что-нибудь! Роди!

– Пошел к черту.

– Пошел сам! Я не буду снимать! Снимай сам это дерьмо! Говенный святочный рассказ! И справедливо об этом писали!

– Зачем ты тогда взялся снимать?

– Потому что нечего было снимать! Понимаешь: не-че-го! А хочется! А нечего! А надо! Ам-ам делать надо!

– Федор Федорович, в павильоне-то заждались, – нежно сказал Сережа. Он любил скандалы.

– Я прошу тебя, парень, – сказал Режиссер покорно и тихо, – постарайся меня понять. И не надо со мной ругаться! А то тебе что – отряхнулся и пошел, а мне снимать! Посиди, подумай. И приходи.

– Мы в седьмом павильоне, – сказал Сережа. И все они пропали за дверью.

Эту историю он считал святой для себя. Он обещал себе не разрешать никому прикасаться к ней. И когда зазвонили телефоны с киностудий (это было ему приятно, этого он ожидал), он с достоинством отказывался. Чем больше он отказывался, тем больше разжигались страсти – таков был закон. Прошло несколько лет, или несколько месяцев, как ему показалось (нет, по календарю все-таки несколько лет), и он забыл свое обещание и согласился. К тому времени он многое забыл из своих обещаний.

Дверь отворилась, и вошел Сережа. А может, и не Сережа. Может, двойник или тройник.

– Ну, как вы? – спросил лже-Сережа.

– Ничего.

– Ну, а вообще?

– Тоже ничего.

– Вот и хорошо... Сам просит привести вас в павильон. Пойдем с заднего хода. – И засмеялся.

И он понял, что это все-таки был Сережа.

В год, когда они встретились, она окончила среднюю школу и не попала в институт. Она куда-то устроилась на работу (ему так и не сказала – куда). Потом он узнал, что она занимается велосипедом, побила какой-то рекорд, ее включили в команду и все время возили на сборы и на соревнования... Но тогда она ему ничего не говорила об этом. Она почему-то стеснялась

велосипеда. Он видел только, что она все время куда-то торопится, улетает, прилетает и снова улетает. Так они встречались, торопились, и рядом всегда было расставание.

В павильоне Сережа оставил его у дверей и ринулся вглубь. Огни были погашены. Режиссер сидел у камеры и страдал.

– Привел, – сказал Сережа. Режиссер даже не обернулся.

– Сережа, где текст? Где этот замечательный текст? Найди-ка эпизод «Длинный день».

Сережа протянул ему нечто грязное, исчерканное, и Режиссер углубился в чтение, даже забормотал текст себе под нос.

В том самом их длинном году был их самый длинный день. День, когда они были счастливы. Дай Бог один такой день в целой жизни. У него был этот день, так что ему уже ничего не страшно... Или – все страшно после такого дня.

– Я не опоздала?

В тот день она подъехала на грузовике.

– Я с аэродрома. Грузовичок подвернулся.

– Почему ты никогда не смотришь мне в глаза? Ты что, стесняешься меня? До сих пор не привыкла ко мне?

– Я, да?

– Нет, я.

– Ха-ха-ха!

– Ты знаешь, у меня завтра весь день свободный.

– Весь, да?

– А ты, конечно, занята?

– Ой, не тяни так противно слова. Занята, не занята... все в порядке.

– Нет, ну если ты...

– Все! Все! Свободна, и хватит! Представляю, как ты устает от моей глупости.

– Девушка сегодня очень красивая, думаю я себе.

– Ха-ха, издеваешься, ну все, буду молчать.

Режиссер (все так же, не оборачиваясь) начал читать вслух сценарий:

– «Я, да?.. Нет, я. Ха-ха-ха!.. Весь, да?.. Думаю я себе...» Боже мой, идиотизм! Идиотизм!.. Что у нас потом?

– Эпизод «Ресторан»! – веселился Сережа.

– Знаешь, я сегодня решила удивить красотой любимого мужчину – сама завилась и, чтобы не испортить прическу, просидела в кресле всю ночь. Ха-ха! Я когда в хореографический ходила, у меня был точно такой же случай... Слушай, а я ведь хорошо танцую! Сходим в ресторан какой-нибудь? Я хочу с тобой в ресторан.

– Актрису на площадку! – крикнул Режиссер.

– Актрису на площадку! – заорал Сережа.

– Репетиция со светом!

– Ставьте свет! – буйствовал Сережа.

– Столик не поменяли?! А я просил: поменяйте этот столик для ресторана! Поменяйте этот столик, похожий на гроб! Но здесь бессмысленно просить!

Они пошли тогда в «Прагу». Все было удачно – они выстояли очередь, заняли столик на двоих. Танцевала она божественно, и все ее приглашали, а она отказывалась.

– Давайте массовку! Танцующие пары! Массовка! – кричал Сережа.

– Не надо! Не надо массовки! Надо столик для ресторана сначала поменять! Если в следующий раз...

– Будет столик, – светло сказал Сережа.

– ...я повешу тебя тогда за твою верткую задницу! На площадке появились несколько молодых людей крайне печального вида. Женщина с никаким лицом дала знак, и «танцующие пары» начали свой танец.

– Не надо сейчас танцев! Я должен сначала решить, что нам снимать! Говенный сценарий! Говенный столик! Жизнь не удалась!

Печальные молодые люди танцевали.

Он хотел ее поцеловать, когда они танцевали, но она отвернулась.

– Я поняла, что ты делаешь это оттого, что я нравлюсь другим...

Она все всегда понимала. Они много танцевали в тот вечер, а потом перед закрытием она исчезла на десять минут, заявив, что пошла причесываться, и вернулась, сияя круглыми глазами.

– Все. Идем домой.

В кулаке у нее был скомканный счет.

– Это я для независимости, чтобы легче было потом от тебя уйти...

Потом они пришли, и наступила ночь.

– Уберите пары! Пары уберите!

– Ребята, стоп! – орал Сережа.

На площадку уже вывели Актрису – очередная Женщина с никаким лицом вела ее за руку... Люди здесь опасно двоились.

– Мы начнем снимать наконец? Я уже три часа на студии, – сказала Актриса.

– Если вы спешите – вам надо сниматься не у меня! Я не спешу! Эпизод «Ночь»! Пересъемка эпизода! Только ваш текст! Читайте текст, Сережа! У нас девушка спешит! Тишина в павильоне! Сережа! Я жду! Читаем вслух этот гениальный текст!

Сережа вынул очередной грязный ворох бумаги и объявил:

– Ремарка автора: «Она безумно и страшно раздевалась»...

– Как она раздевалась?

– Безумно и страшно.

– Дальше! Текст!

Сережа читал с выражением:

– «Только не засыпай! А то когда ты закрываешь глаза, я боюсь, что тебя нет, что ты умер. Я все время боюсь за тебя теперь. Нет, конечно, спи, ты устал... ну конечно, спи! У меня такая к тебе сейчас нежность, до слез, до самой боли!» Она шептала бессвязно, торопливо, слова сливались, она плакала...

– Что она?

– Плакала. «Помнишь, ты мне сказал, чтобы я за тебя молилась немножечко. Потому что у тебя какие-то важные дела происходят... Я помаливаюсь все время, чтобы дела твои были великолепны... «Молись за меня, бедный Николка...»

– Кто молись?

– Бедный Николка. «Ужас! Ужас! И такая к тебе нежность! И жжет напропалую!»

– Чего жжет?

– Напропалую.

Режиссер развел руками и опустил голову на руки.

Она безумно и страшно раздевалась. И потом уже шептала ему:

– Только не засыпай! А то когда ты закрываешь глаза, я боюсь, что тебя нет, что ты умер. Я все время боюсь за тебя. Конечно, спи, ты устал... ну конечно, спи! У меня такая к тебе сейчас нежность, до слез, до самой боли! Помнишь, ты мне сказал, чтобы я за тебя молилась немножечко, потому что у тебя какие-то важные дела происходят... Я помаливаюсь все время, чтобы дела твои были великолепны. Ха-ха! «Молись за меня, бедный Николка». Представляешь, летим мы на соревнования, высоко – и молитва девушки ближе к небу... Нет, серьезно,

я все время о тебе вспоминаю. Кажется, я все-таки впаду с тобой в рабство. Но ничего, когда это случится – сама уйду, вот увидишь... Ужас! Ужас! Ужас! И такая к тебе нежность! И жжет напропалую! А утром я всегда разговариваю с тобой... Ты улыбаешься?... Ну-ка... – Она провела пальцем по уголкам его рта. – Меня не проведешь... ну не надо... А ты заметил, что я стала меньше хихикать с тобой? Потому что есть закон: если два человека связаны и один из них смеется – другой в это время плачет. Потому что они – одно целое. Поэтому теперь я на всякий случай хихикаю поменьше...

– Ну и что будем делать? – сказал Режиссер.

– Это вы мне? – спросила Актриса.

– Это я небу, – сказал Режиссер.

– Федор Федорович, а может, снимем ее голой? – веселился Сережа.

– Не надо голой! Голой не надо!

– Но вы сказали: у Бертолуччи...

– Не надо Бертолуччи! Бертолуччи нам не надо! Что у нас дальше?

– Эпизод «Утро понедельника».

Утром он проснулся и сразу увидел ее. Она стояла у стены, на нее падало солнце, и он подумал впервые: «А я ее люблю».

– Ты не останешься?

– Ты хочешь, чтобы я осталась?

– Ну, если тебе нельзя...

– Ой, ну при чем тут можно – нельзя...

– Да, я хочу, чтобы ты осталась.

– Хочешь, да? Ну тогда я, пожалуй, останусь...

– Я придумал! – сказал Оператор. – Грандиозный переход к утру! Значит, утром он просыпается, видит ее... так, да? – И он зашептал что-то на ухо Режиссеру. – Гениально, да? И сразу – парк...

– Главное – как можно меньше этого идиотского текста!

А потом был парк, жаркий весенний день, и она двигалась в этом солнечном дне... и солнце на его ладони, когда она по ней гадала, и солнце в уголочке ее рта, и ощущение радостного, длинного, уверенного счастья, потому что тогда он еще верил, что самое настоящее счастье еще только будет... а думать так – тоже счастье!

Он целовал ее, а она вырывалась и все говорила:

– Не надо! Ну что хорошего!

– Сережа, я вас жду! Текст!

– Но вы же сказали – текста не надо...

Режиссер сумрачно посмотрел на него, и Сережа начал читать:

– «К вечеру они остались без денег. Дело было перед стипендией. Они сдали бутылки, сосчитали всю мелочь и купили колбасы, хлеба и пива...» – Здесь Сережа остановился и грозно заорал в мегафон: – Пиво-колбаса для эпизода!

– Куплено, куплено, – сказала Женщина с никаким лицом.

Сережа разочарованно продолжил читать:

– «Они пили холодное пиво. Луч заходящего солнца пробил маленькую комнату. Красный шар грозно стоял над домами, но прохлада уже спускалась на город...»

– Так, – сказал Режиссер и начал прохаживаться вдоль стены. – Так...

На стене была народная надпись: «Начальник 2-го участка 3-го блока Вася – пидарас». Эту мудрость Сереже было велено закрасить под страхом смерти еще на прошлой неделе, но сейчас Режиссер ее не видел – его посетило вдохновение.

– Так... – повторял он самозабвенно, – так... – И обратился к Оператору: – Значит – он смотрит на нее, а она, как всегда, торопливо отвернулась. Он дотрагивается до ее щеки

кончиками пальцев. Она, не оборачиваясь, медленно начинает тереться щекой о его пальцы. Потом она отодвинулась и...

– Здесь написано: «Она не отодвинулась», – радостно сказал Сережа.

– Она не отодвинулась, а все продолжала касаться щекой его руки.

– Знаешь, сегодня в парке я вдруг подумала: вот когда-нибудь мы станем с тобою старичками и будем вспоминать об этом дне... Глупость! Глупость! Ни слова умного не могу с тобой сказать! Что за черт! Без тебя я с тобою так великолепно разговариваю...

В тот вечер – в самый прекрасный их вечер – она много плакала. Плакала, когда он целовал ее и когда шептал ей что-то. А он никак не мог понять, почему она плачет.

– Ну что ты... ну все ведь хорошо... ну что? Что?

– Не знаю... Мне хочется почему-то, чтобы сейчас был снег... и я нырнула головой в этот снег, и только ноги мои оттуда торчат... жа-алкие...

Потом она вдруг вскочила и забегала по комнате, смешно мотая головой, смахивая слезы и приговаривая: «Надоело, надоело...»

Потом вдруг остановилась и добавила:

– Совсем сдает девушка, пора уходить от тебя.

– Прекрасно! – Режиссер торжественно обратился к Оператору. – Прекрасно! Все это фуфло, парк и все эти бутылки пива... всю эту муру...

– К черту! – догадливо сказал Оператор.

– Пива не надо! – прокричал Сережа.

А потом наступило их второе утро (утро понедельника), и самый длинный день закончился. Он не очень хотел ее провожать: ему нужно было идти в университет, и вообще... Конечно, он показал, что собирается ее проводить – снял плащ с вешалки.

– Нет-нет, не надо, я не хочу... Не хочу, чтобы ты меня провожал.

Он удивился. Он тогда еще не знал, что она чувствовала все, что происходит с ним. Потому что она его любила.

– Сережа, читай конец эпизода «Утро понедельника». И Сережа начал читать – как обычно, с выражением, радостно издеваясь:

– «Она подошла к дверям, в дверях обернулась и засмеялась. Он так и запомнил ее – как она смеялась на фоне белой-белой в лучах солнца двери...»

– Когда ты позвонишь?

– Я не люблю звонить. По телефону все равно ничего толком не скажешь.

– Ну а как же?

– А я дам тебе сигнал. Как захочу тебя повидать, так сразу и дам...

Солнце падало ей в глаза. Она вынула темные очки, надела их и засмеялась:

– А то поймут, откуда я иду.

– Не понял: зачем у него там эти очки? – сказал Режиссер. – «Я дам тебе сигнал» – вот прекрасный конец эпизода. А потом она смеется.

– И мы сразу переходим на дверь, – подхватил Оператор. – На двери солнце, она долго жмурится... И – бац! – она уже бежит по двору, как в этом японском фильме... И ее счастливый, прекрасный пробег по двору...

– Очков не надо! – объявил Сережа.

– Репетиция! – закричал Режиссер.

– Актеры, на площадку! – уже орал Сережа.

Вечером он вернулся в пустую квартиру и просто задохнулся от нежности. Он взял ее полотенце, почувствовал ее запах и понял, что сейчас заплачет. Он не представлял себе – как он мог желать утром, чтобы она скорее ушла...

Всю неделю он ждал, что она позвонит. Но она не звонила. И только через десять дней он увидел на лестничной клетке привязанный к перилам воздушный шарик. А вечером она позвонила:

– Видишь, я не смогла не прийти. Я уже не могу делать то, что я хочу.

Они продолжали встречаться, но это были уже совсем другие, новые встречи. Он вдруг начал интересоваться, где она проводит время без него. И все время спрашивал:

– А где ты была вчера?

– Не важно, не важно...

Он узнал постепенно, что она уже не занимается велосипедом, ушла с курсов подготовки в институт и работает в Доме моделей манекенщицей.

– Хожу по язычку. Язычок – это место, где мы расхаживаем.

Он очень расстроился и начал страстно объяснять ей, какое это ужасное место – Дом моделей (хотя никогда там не был).

– Это вертеп!

– Я никогда, ничего не буду тебе рассказывать...

Он пришел в Дом моделей, уселся в заднем ряду, смотрел, как она выходила в ослепительном платье (туалет для новобрачных), и вдруг понял, что-то у них изменилось: пропала та счастливая легкость, та радость необязательности...

Теперь он хотел все знать о ней, и злился, и ревновал, если не знал.

Актрису опять вывели на площадку.

– Надеюсь, мне хотя бы в минуту съемки скажут, что говорить! Вы все время меняете текст!

– Милая, хорошая, добрая, забудьте, что у вас дурной характер и слушайте сюда! – кричал Режиссер. – Значит, идете, идете, идете от него! И вдруг у вас будто вырвалось: «Я тебя люблю!» И все! Поняли? Люблю! И все! И никаких его идиотских слов! Репетиция!

– Тишина! – заорал Сережа.

– Тишина, – повторила Женщина с никаким лицом.

– Мотор!

– Кадр 333, дубль 1.

– Я тебя люблю!

– Стоп! Нет! Нет! – страдал Режиссер. – Соберитесь! «Люблю» – это главное слово человечества! Это – глыба! Ради этого слова – все! Все предательства, все подвиги! Ну! Ну, родная! Соберитесь!

– Просто я хочу знать, где ты сейчас работаешь. Это естественно.

– В Доме моделей.

– Врешь! Вчера я случайно зашел в Дом моделей...

– А я все думаю себе: кто такой знакомый в последнем ряду сидит каждый день...

– Но вчера мне сказали, что ты совсем ушла из Дома моделей! Мне наплевать, где ты работаешь, мне неприятно, что ты мне врешь!

– Есть такая передача – «Хочу все знать». Один мой знакомый называет ее «Хочу хоть что-нибудь знать».

– Меня не интересуют твои дурацкие знакомые с кретинскими фразами! Где ты проводишь дни? Где ты была, например, сегодня?

– Сегодня я ходила с одним человеком и покупала мыло его маме ко дню рождения. Он мой старый друг... и он попросил меня.

– Меня не интересует сегодня! Где ты вообще работаешь? Где? Где?

– На меня нельзя кричать, а то я уйду.

– Перестань паясничать! И перестань врать! Раз и навсегда! Я не хочу, чтобы ты... – он хотел сказать – «шлялась», – была черт знает где! Я не хочу слышать про твоих кретинских знакомых! Ты... ты...

– Она тихо-тихо ахнула и зашептала:

– Как же? Ты что?

– Тишина!

– Попробуем еще раз снять!

– Мотор!

– Кадр 333, дубль 2.

И Актриса рванулась к камере:

– Я тебя люблю!

– Стоп! Назад! Еще раз! Съемка!

– Тишина в павильоне!

– Мотор!

– Кадр 333, дубль 3.

– Ну?!

Актриса не двинулась с места.

– Ну?! Ну?! – вопил Режиссер.

И, не выдержав, Женщина с никаким лицом истерически выкрикнула:

– Я тебя люблю!

– Стоп! Стоп!

Она плакала.

– Как же ты мог... Все правильно! Это мне за все! Ну конечно, если я с тобою, значит, я... Боже мой! Как ты обо мне думаешь! Спасибо! Будь я проклята! Спасибо тебе!

Ее било. Начался взрыв, рожденный из пустяка. Все, что накопилось, требовало выхода. Все, что молчало, распирало, – рванулось наружу. Она плакала страшно, горько, она кричала...

– Я тебя люблю! Еще раз! Начали! Съемка!

– Тишина!

– Мотор!

– Кадр 333, дубль 4.

– Я тебя люблю!

– Кадр 333, дубль 5.

– Я тебя люблю!..

– Я тебя люблю!..

– Я тебя люблю!!!

Он целовал ее, просил прощения и был счастлив, потому что понимал, что она его любит.

Она долго счастливо всхлипывала, потому что она тоже понимала, что он ее любит.

– Не буду я с тобою, клянусь. Сегодня мы в последний раз. Как же ты относишься ко мне? Ну что за дела такие! Все на меня кричат – мама, ты, бабушка Вера Николаевна, хоть удавись, честное слово!

Потом они лежали в кровати, и он спросил:

– Ну и где же ты все-таки работаешь?

Она засмеялась.

– Знаешь, что я сейчас вспомнила? В детстве мама меня наказывала – ставила в угол на коленки, на горох. Сколько я там простояла! Но зато так было хорошо, когда после всех слез мама меня прощала, и мы мирились. Помнишь, ты рассказывал про Руссо... Надо возделывать свой сад... каждый человек должен трудиться физически, только труд физический, тяжелый дает покой душе и верную точку зрения на жизнь... А еще ты цитату мне сказал из Толстого, помнишь?

Он с ужасом вспомнил. Да, он разговаривал с ней как с собой, то есть попросту размышлял вслух, и оттого говорил много бреда. Он забывал, что она ему верила, потому что думала: он знает. И еще он вспомнил, как однажды встретил ее в библиотеке Ленина с тетрадочкой под мышкой. Она попыталась спрятаться за колонну, но он извлек ее оттуда. Она все равно убежала, а потом объясняла:

– Я просто не была готова к встрече с тобой. Когда иду к тебе... мне надо немножко собраться. И вообще, я могу настраиваться только на что-нибудь одно...

Вот тогда он узнал у нее и про тетрадочку.

– Я после твоих разговоров всегда иду в библиотеку и читаю все, о чем ты рассказываешь. И записываю все это в тетрадочку... Я таких тетрадочек много исписала, я всегда их на ночь перечитываю – умнею...

– Ну и где же ты работаешь? – спросил он почти со страхом.

– Только ты не смейся, слово?... Нет, ты скажи, скажи!

– Слово.

– Я устроилась землекопом в Ботанический сад. Там бригада, прекрасные люди, цветы сажаем. Представляешь: весна, дымок от костров... Ты посмотри, какие у меня стали руки... Хочешь, потру о щеку? Чувствуешь? Чувствуешь?

Потом она обнимала его своими новыми, шершавыми руками, и он с ужасом сказал вдруг:

– Я тебя люблю.

– Ну что, единственная, прекрасная... можно сыграть простую сцену: «Я тебя люблю»? Можно или нельзя? У вас было что-нибудь подобное в жизни?!

Актриса молча ушла из павильона.

– Нахалка! – сказала Женщина с никаким лицом.

– Отдохнем! – сказал Режиссер.

– Федор Федорович, – сказал Сережа, – по-моему, ей не нравится парик.

– Перерыв для всех! – сказал Режиссер.

Погасли юпитеры, и Режиссер подошел к нему:

– Маска, я тебя знаю. Я нашел гениального актера на роль контролера.

– Какого контролера?

– Я тебе не сказал? После первой ночи они у тебя гуляют по парку, так вот... Представь: они заходят в комнату смеха, а там контролер... Да ты не бойся, это ничего не испортит, иначе все получается нестерпимо сентиментально... Кстати, почисти жаргон. Ты видел Актрису. Ну можно с таким лицом произносить все эти «влопалась», бессмысленные междометия, идиотски переспрашивать и хихикать? Она отказывается играть!

– Она переспрашивала, потому что волновалась, потому что...

– Кстати, эпизод с Ботаническим садом мы все равно не успеем снять – ушла натура... Я его объединил с эпизодом в театральной кассе. Грандиозный получился эпизод! И то, что ей деньги не пришли, – это такая правда!.. И эти твои грустные грузины в кепках... Ах, как хорошо!

В Ботаническом саду окончился сезон, и она устроилась в театральную кассу продавать билеты. Она с энтузиазмом рассказывала покупателям о спектаклях, объясняла, рекомендовала – и около ее кассы толпился народ и разгуливали толстые грузины в огромных кепках, введенные в заблуждение ее общительностью. В кассе у нее случились денежные неприятности, и она вскоре уволилась. И целый ряд вещей навсегда исчез из ее гардероба.

– Как так можно? Представляешь, подходит женщина, интеллигентная, с ребенком на руках, и говорит, что ее обокрали, а ей надо лететь с больным ребенком во Владивосток. И что она мне оттуда тотчас же вышлет... Нет, как так можно... Разве ты не поверил бы? Я ей отдала из выручки. А может быть, с ней просто случилось несчастье и она еще вышлет?

Но деньги так и не пришли, а так как адреса женщины она не записала, история эта осталась невыясненной.

– Кстати, я вспомнил ту реплику, – сказал Режиссер.

– Какую реплику?

– Ну ту, которую я хотел, чтобы ты вставил... Значит, она звучит так: «А существует ли любовь? – спрашивают пожарные». Хорошо, да? Почему смешно – непонятно, но хорошо. Да, еще... Эпизод с плащом я сократил. Очень сентиментально...

Да, еще с плащом... Наступила теплая осень. Она разгуливала – старое кожаное пальто через руку – в единственном оставшемся после театральной кассы туалете.

Туалет – в нем куда хочешь: и во дворец, и на паперть.

Вся зарплата у нее уходила на бесчисленные мелкие подарки – ему, сослуживцам, маме. Она дарила ножички, торты, цветные клеенки, синтетических медведей, чай в коробках – и с трудом дотягивала до зарплаты. А в это время его важные дела наконец-то принесли результат – он получил третью премию за рассказ на конкурсе газеты «Труд». Он решил сделать ей подарок. В университетском общежитии по случаю ему продали белый французский плащ, и он с торжествующим видом принес плащ ей. И она заплакала.

– Как же ты мог! Неужели я такое ничтожество... неужели без французского плаща я – ничто? Я ведь с тобою без этого проклятого плаща... Не надо меня обижать, ладно? Слышишь? Не надо никогда меня обижать!

– Оч-чень сентиментально, – сказал Режиссер. – Как ты это дело любишь... Но все это мелочи. А с главным-то я от тебя не отстану, парень. – И добавил весело: – Почему она погибла?

– Как с гостиницей?

– Бродецкий занимается... Почему она погибла?

– Знаешь, я поступила в «Аэрофлот».

Там ее тоже очень уважали. Но она все чаще приходила печальная.

– Меня нет на свете! Что я есть, что меня нет – все равно. Я ведь абсолютно бесполезный человек. Я даже сходила в «Мосгорсправку». Я взяла о себе справку, чтобы удостовериться, что я – есть! Что ты молчишь?

В это время решались его важные дела, ему было не до нее, и он слушал все это невнимательно и вяло, давал какие-то советы... После его премии за рассказ на конкурсе газеты «Труд» она начала читать все газеты от корки до корки, все искала статью о его рассказе. И все удивлялась и обижалась, почему не пишут о таком интересном рассказе, о таком выдающемся литературном событии – о третьей премии на конкурсе газеты «Труд». Его рассказ она выучила наизусть и разговаривала с ним только цитатами.

– «На столе лежали два комочка – носки ребенка». Ха-ха! Комочки! Потрясающе! Комочки, комочки...

Однажды они шли по улице, она вдруг остановилась и сказала тихо и торжественно:

– Я чувствую – к тебе идут успехи!

Она и это почувствовала – в тот год у него было много успехов. Он все чаще встречался с ней днем, чтобы вечерами видиться с интересными и важными людьми. Люди эти прежде его не знали, и оттого, что теперь они его знали и даже встречались с ним, он пребывал в щенячем восторге. Это древняя, достаточно обычная и много раз описанная история. И она со своей страшной интуицией уже все чувствовала.

– Приветик! Я на секундочку к тебе, очень спешу! Да и у тебя, наверное, тоже делишки?

Так она теперь говорила, приходя к нему на свидание. Она ждала, он молчал. Он был ей благодарен, потому что в это время он уже познакомился с другой. Другая была очень красива, умна и великолепно училась в университете. И вот это совершенство его полюбило. Он так был потрясен случившимся, что не успел даже хорошенько разобраться, полюбил ли он.

Впрочем, это подразумевалось само собой. И это тоже древняя, достаточно обычная и много раз описанная история.

– У тебя кто-то есть. Только молчи! Ты когда ко мне прикоснулся... после нее... – Она засмеялась. – Я все поняла. Сразу. Я даже могу сказать, какого она роста. И какая у нее грудь. С интуицией у девушки все в порядке, это у нее вместо ума... Как осязание у слепых... Ты не грусти... я была готова к этому с первого денечка. Девушка держала себя в мобилизационной готовности. Это тебе...

Она протянула ему открытку. На открытке было написано «С Новым годом», изображен счастливо-лукавый кот, а под ним стихи о том, что этот кот – бархатный живот хотел съесть мышек в серых пальтишках, но они от него убежали.

– Кот – бархатный живот – это ты... С Новым годом, удачи тебе! Я буду помаливаться за тебя.

Но и на этот раз уйти она не сумела. Он несколько раз встречал ее у своего дома – она тотчас перебежала на другую сторону. Он понимал, что она нарочно так делает, чтобы он пошел за ней. Но ему не хотелось этого, и он делал вид, что не замечает ее. Тогда она написала ему отчаянное письмо и попросила увидеться.

Было тридцатое декабря. Он уезжал в Ленинград, где они решили встретить Новый год вместе с красавицей студенткой... Когда она позвонила ему и, задыхаясь, нехорошо спросила, получил ли он ее письмо, он, тоскуя, попросил ее прийти на вокзал (только не к поезду, а к метро – за час до поезда).

У метро в назначенное время ее не оказалось, и он с облегчением тут же пошел прочь. Тогда она вышла из-за колонны в своем старом кожаном пальто. Она вдруг показалась ему совсем некрасивой, даже какой-то неряшливой.

– Я оказалась твоим рабом... так не хотела, но оказалась. Не дай Бог тебе узнать, что я пережила... ты не выдержишь. Но я надеюсь, что в мире справедливости нет – и все у тебя по-прежнему будет отлично. Потому что я хорошо отношусь к тебе! Я понимаю, ты сейчас хочешь, чтобы я побыстрее ушла. Что делать, ты – нормальный человек и оттого мало что можешь понять. А надо бы, ведь ты писатель... Я желаю тебе... Я желаю тебе... Я... Я...

Она говорила еще что-то ужасное, но все это показалось ему тогда ненатуральным, истерическим, потому что тогда он ее уже не любил.

У поезда он встретил студентку-красавицу и толпу университетских знакомых. Купили шампанское и сорок минут провели около поезда в празднично падавшем снеге, в шуме и разговорах. Когда поезд тронулся, он стоял у окна и рассеянно смотрел во тьму сквозь падающий снег.

И тогда он увидел ее. Она стояла на самой дальней платформе, у самого края. Стояла, видно, долго, и на голове у нее выросла огромная снежная шапка. Когда поезд проходил мимо, она подняла руку и махнула ему вслед.

Больше она не звонила и не писала. Встретил он ее только однажды...

В павильон вернулась вся толпа – съемочная группа. Зажгли юпитеры, и опять осветился этот гигантский тусклый сарай с беспощадно обнаженными стенами, похожий на катакомбы. И совсем немножечко на ад.

И группа в беспощадном свете стала толпой забавных бесов...

Увидел он ее через два года на аэродроме. Он сошел с самолета и шагал к зданию аэровокзала, когда увидел ее. Она бежала навстречу по летному полю, размахивая спортивной сумкой. Она совсем не изменилась и снова была (как в тот летний день) радостной девочкой.

– Привет! – Она сказала это так, будто они виделись только вчера.

– Как ты живешь? – тупо спросил он.

– Живу. В институт поступила. Ты когда-то очень хотел, чтобы я поступила в институт. Я даже о тебе подумала, когда прочла себя в списке.

Ее окликнул мужчина у трапа самолета.

– Тренер волнуется... я вернулась в спорт.

– Знаешь... Помнишь, тогда ты сказала на вокзале...

– Тогда, сегодня, сказала, не сказала... Какое все это имеет значение? Все правильно.

За грехи все это было, за никчемность. Жила гадко, для себя... А надо по-другому, милый...

Видишь, сбылось: стоим мы с тобой уже два старичка и беседуем... А ты, кстати, не изменился

– совсем мальчик в этих джинсах. Они тебе очень идут.

Тренер опять позвал ее.

– Тишина в павильоне!

– Мотор!

– Кадр 333, дубль...

– Я тебя люблю! – крикнула Актриса.

– Стоп!

– Надо идти. Удачи тебе!

– Послушай... – начал он. (Он уже не был тогда с красавицей студенткой.) – Послушай...

– Не надо, не надо... Все у тебя будет хорошо! Я ведь помаливаюсь за тебя – всегда...

Я побежала. Побежала!

Она взбежала по трапу и, обернувшись, махнула ему рукой. И исчезла в самолете.

– Я все понял – почему не получается! Великолепная, это моя ошибка! Несравненная, это не надо снимать абстрактно! Будем снимать в его комнате! Осветите его комнату! Это утро! Там солнце!

И юпитеры осветили темную декорацию.

– Свет! Свет на дверь!

Господи, как все похоже... Это был угол его комнаты, так же стояли стулья и узкая кушетка у окна, и смешная фигурка на этажерке. И такое же солнце на стене – как в то утро... Страшно подглядывать из будущего на свою прошлую жизнь.

Режиссер подошел к нему:

– Парень, придумай реплику к эпизоду «Утро понедельника». А-то как-то глупо: она уходит от него, машет ему рукой – и все. Это от бедности. Помучайся! Надо что-то очень простое... Подумай, родненький, пока мы тут ставим свет. Помнишь эпизод? Напрягись немного, а завтра уедешь, и снова у тебя будет море, а мы останемся тут вкалывать за тебя... Но главное за тобой: почему она погибла?

– Почему она погибла?

– Она погибла уже тогда, на эскалаторе, когда он увидел ее в первый раз. Как там сказано: «Мы все убиваем тех, кого любим. Кто трус – коварным поцелуем, кто смел – с клинком в руках». Но все мы убиваем тех, кого любим... Однако Режиссер был прав: это он придумал в повести. Она просто исчезла из его жизни. Он написал ей письмо, когда ему стало совсем плохо, но она не ответила. Он очень удивился – он знал, что она не могла ему не ответить.

Он пошел к ней домой. Дверь открыли и сказали:

– Такие здесь не проживают... Они уехали в другой город.

Когда он возвращался, он все вспоминал человека, отворившего ему дверь. Как странно был одет этот человек – в белой рубашке, перечеркнутой у горла старомодной черной бабочкой... как посмотрел на него, будто давно его ждал... как суетливо, страшно сказал про ее отъезд и как поспешно, будто боясь вопросов, захлопнул перед ним дверь.

– Такие здесь не проживают... Они уехали в другой город.

Наверное, это все ему показалось, но он никак не мог отделаться от ужаса и тоски. И еще он знал: если бы она была – она пришла бы к нему! Она почувствовала бы, что ему сейчас плохо, потому что она всегда знала про него все... И тогда ему все чаще стало представляться шоссе в горах, пылающий день и стайка велосипедисток. И поворот...

Он видел, как она лежала, схватившись за парапет, видел луч солнца на ее виске, и как кружилось колесо упавшего велосипеда... Он даже знал, что потом пошел дождь, смывая кровь с шоссе. Он так часто все это видел, что поверил в это...

– Сейчас автор скажет нам реплику! Актриса и группа – все мы внимаем! Тишина в павильоне!

С тех пор он влюблялся в женщин, которые были на нее похожи (точнее, вначале были на нее похожи – милая игра в Синюю птицу).

– Ну, автор! Давайте! – орал Режиссер. – Реплику! Любую! В эпизод «Утро»! На ее уход! Реплику! Автор! Он засмеялся и сказал:

– «А существует ли любовь?» – спрашивают пожарные.

Иоанн Мучитель

Еще в сталинские времена наш знаменитый антрополог и скульптор академик Герасимов, восстанавливавший лица по черепам, задумал вскрыть гробницу царя Ивана Грозного. Герасимов хотел не только воссоздать портрет легендарного царя, но ответить на вопрос **как он умер? Был ли он убит, как гласила легенда, или, говоря словами поэта, «к стыду людей, он умер сам»?**

Но не захотел Сталин. То ли бывший ученик духовной семинарии не забыл историю с гробницей Тимура (когда через три дня после вскрытия тем же Герасимовым могилы, как и предупреждали старики узбеки, началась война – Гитлер напал на Россию) и теперь избегал нарушать покой царей-демонов, то ли, что скорее всего, попросту не захотел тревожить покой любимого героя.

Грозный царь воистину был любимцем грозного диктатора. Сталин несколько раз посещал *его* могилу в склепе под алтарем Архангельского собора. Общеизвестна история Эйзенштейна: Сталин осыпал милостями великого режиссера, когда тот снял фильм-панегирик Ивану Грозному, и пришел в ярость, когда Эйзенштейн во второй серии посмел не воспеть его как должно...

Занимаясь биографией Сталина, среди книг его библиотеки я нашел пьесу А. Н. Толстого об Иване Грозном. В страшные дни войны, когда немцы рвались к Москве, попала к нему на стол эта пьеса... Прочитав ее и, видимо, о чем-то раздумывая, Сталин несколько раз написал на задней стороне обложки одно слово – «Учитель».

Учитель... но в чем?

Ответ казался простым: грозный царь истребил множество бояр. И Сталин истребил партийных вельмож, которых часто называли «боярами» (как писал поэт: «А вы, кремлевские бояре из белостокских корчмарей...»).

Но чем дальше я писал эту историю, тем яснее понимал: дело не только в уничтожении бояр... Сталинская любовь к Грозному связана с неким важнейшим вопросом, который когда-то задал наш великий историк Карамзин. И ответ на который скрывает история самого загадочного и самого кровавого из русских царей...

Однако о карамзинском вопросе потом. Сначала о царе...

Его гробницу вскрыли уже после смерти Сталина – в 1963 году.

На смертном одре царь Иван принял схиму – высшую ступень монашества – и в гробу лежал в рясе и куколе.

Герасимов восстановил лицо по черепу, и старик с хищным крючковатым носом и сластолюбивым, презрительным «карамазовским» ртом глянул из небытия...

Два Ивана

«Тело изнемогло... болезнует дух... раны душевные и телесные умножились, и нет врача... Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого... Отплатили мне злом за добро и ненавистью за любовь...»

Кто так жалуется – страстно и возвышенно? Кто этот одинокий страдалец, столь несправедливо обиженный?

Это наш герой, царь Иван Васильевич, который всего за два года до этих слов истребил великий город Новгород. Да что город – целый край опустошил! Младенцев привязывали к матерям и топили в Волхове... А жалостливые слова эти он написал в своем завещании, и обращены они прежде всего к любимому сыну, которого он... тоже убьет!

Но первые тринадцать лет его правления были благодетельны – великая пора в нашей истории! Остальные двадцать с лишним лет – кровь и террор, избиение народа, будто царя подменили, будто дьявол вошел в него...

Темна до него история московских правителей – безликих теней, тускло отраженных в летописях...

Он первый заговорил. Он оставил множество писем, в которых – его голос, его шутки, его проклятия. Так что он сам, царь Иван Четвертый, и поведет нас по собственной истории.

Из тьмы Азии

Легенда, естественно, утверждает: когда он родился, гремела гроза. И гроза действительно гремела, но очень далеко от каменного дворца, выстроенного его дедом на месте ветхих деревянных хором московских царей...

По всей Западной Европе грохотали пушки, пустели храмы, священники брались за мечи, воздвигались эшафоты, шли религиозные войны. Реформация – Лютер, Кальвин, папские проклятия... Европе уже было явлено чудо Нового Света.

А где-то там, на Востоке, где обрывалась европейская цивилизация, из загадочной тьмы Азии перед изумленной Европой воздвигался другой «новый свет» – колосс-Россия...

Отец Ивана Василий долгое время был бездетен. «С печалью и слезами», как напишет летописец, смотрел он на гнезда, где резвились птенцы.

И эта «любовь к птенцам во гнездах» заставила его заточить в монастырь бездетную жену Соломонида, откуда она прокляла и его, и будущее его потомство... Жаждавший «птенцов» Василий женился на молодой красавице Елене Глинской, дочери литовского вельможи, «переехавшего» (точнее, перебежавшего) от польского короля к московскому правителю.

Такие «переезды» туда и обратно долгое время были в обычае. Боярство при тогдашнем московском дворе напоминало, как сказал историк, «каталог этнографического музея», где были представлены русские, немецкие, греческие, татарские и литовские имена... Потомками литовского князя Гедиминаса были князья Мстиславские, Голицыны, Куракины, Хованские, Патрикеевы – длинен будет список Гедиминовичей... Выходцами из Литвы были и Милославские. Потомками «выехавшего из Прусс» Андрея Кобылы были Романовы и Шереметевы, от другого «мужа честна из Прусс» происходили Салтыковы и Морозовы. А сколько знатных татар выехало из Орды на службу к московским Государям – от них произошли княжеские роды Урусовых, Юсуповых, Апраксиных... Но уже при отце Василия бояре были прикреплены к Московскому княжеству клятвой и целованием креста – служить только московскому Государю...

Василий пугал двор своей любовью к новой жене: он даже пренебрег священной в Московии бородой – сбрил ее, чтобы быть приятнее молодой чужестранке. И старцы в заволжских монастырях объявили блудом брак Великого князя.

Елена не обманула его ожиданий – родила ему сына. Его называли Иваном в память о великом деде. Иван Четвертый...

Но «любитель» птенцов Василий недолго наслаждался своим новым гнездом. Сбывалось проклятие Соломониды – Василий умер, когда мальчику было всего три года. Никогда Русь не знала такого малолетнего царя.

Правительницей стала его мать. Через полтысячи лет после легендарной княгини Ольги женщина, да еще и чужеземка, стояла во главе Московского государства...

В начале правления вдовствующей Великой княгини вернулось было забытое своеволие бояр и князей, начались заговоры... Елена действовала так, как учил Василий: в темницу были брошены все претенденты на престол – и родной брат ее покойного мужа Юрий, и ее собственный дядя Глинский. И другой брат Василия, Андрей Старицкий, отправился в зато-

чение, где заках в оковах. В темнице сидели: Рюрикович – князь Андрей Шуйский, и потомок Гедимины – князь Вельский. Все короче становился путь между дворцом и тюрьмой, все многолюднее... Опалы следовали одна за другой, в ссылки отправились знатнейшие бояре. И страх вернулся во дворец.

Делами заправлял любовник Елены – князь Телепнев-Оболенский. И боярам надо было угождать могущественному фавориту...

Все хотели перемен. Так что уже через пять лет после смерти Василия «юная летами и цветущая здоровьем» Елена вдруг умерла. Опять говорили о проклятии Соломонины, но это был боярский яд...

Почти через пятьсот лет в ее останках найдут многократно повышенное содержание ртути. И череп красавицы с чудом сохранившимися рыжими волосинками поведаст ее тайну...

Когда мать хоронили, восьмилетний царь-сирота плакал и прижимался в страхе к назначенному матерью опекуну – Телепневу. Но уже через неделю князь сидел в подземной темнице. Его оторвали от плачущего маленького Ивана... Князя, перед которым еще вчера заискивали, которому доносили друг на друга, бояре приказали не кормить.

На свободу вышли все опальные князья, проделав столь же частый в те времена обратный путь – из тюрьмы во дворец. Боярский клан князей Шуйских – как и московские владыки, они вели свой род от князя Александра Невского; князья Пенковы, ведущие род свой от ярославских великих князей; Милославские и Патрикеевы – вновь заседают в Думе. Вернулись во дворец и князья Вельские – с мечтою вернуть свои уделы: Вельск и Рязань, оружием присоединенные к Москве. Мечта о прежней удельной Руси вернулась...

Но все они слишком ненавидят друг друга, чтобы объединиться и свергнуть малолетнего Ивана... И исходят в яростных спорах в Думе о боярской чести, о «местах» и об «отечестве» – кто выше на темной родословной лестнице. Спорят до мордобития – по щекам бьют друг друга, рвут бороды... И – воруют! Нагло и открыто воруют, грабят области, отданные им в «кормление».

«Кормление» – великий обычай, с него начинается тысячелетнее воровство русской бюрократии, навсегда засевшее в ее генах. Боярин, назначавшийся наместником московского Великого князя, должен был «кормиться» за счет управляемой им области. По прибытии он получал от жителей первый взнос под названием «кто сколько может» – и попробуй ему не дать! Как липку обдирали управляемых, беспощадно. Куда хуже татарского ига были для народа эти «кормления»! Князь Андрей Шуйский, «аки лев кровожадный», обобрал до нитки богатый Псков – так, что в городе не стало ни богатых, ни бедных, все были нищие. Но захватившие власть Шуйские не только обирали население – они открыто грабили и царскую казну...

В небрежении, в дальних комнатах дворца растет забытый отрок, но он все видит, все запоминает. И опишет потом свое жалкое сиротство: как воровали Шуйские царские золотые сосуды и перечеканивали на них свои имена... Запомнит и жалкую шубу, в которой впервые увидел Андрея Шуйского, – ветхая была, зато потом в какой роскошной шубе хаживал князь – из царских кладовых украденной! И то, как, унижая мальчика, клал Иван Шуйский ноги на кресла, где сидел его отец, как садился на кровать, где он умер... Все запомнит мальчик, которого (как и многих будущих кровавых диктаторов) горько унижали в детстве.

Он уже знал: это они отравили его мать, они отняли у него кормилицу Аграфену и постригли ее в дальний монастырь только потому, что она была сестрой несчастного Оболенского. И самого князя, любившего его, они в оковах голодом заморили.

Кровь вокруг... Кровь и Власть.

Первый царь

С трех лет, после смерти отца, он уже присутствовал на приемах послов – маленькая кукла в царском одеянии. И первое его детское видение: он — *повелитель*... смиренные поклоны... И сейчас, после смерти матери, бояре по-прежнему выводят его к послам, надев на него дорогие одежды, чтобы потом отправить в темноту и холод нетопленных покоев. Они дрова и свечи ему жалели...

Но не заметили бояре среди своих драк – кукла-то выросла! Теперь это был высокий отрок с тонким крючковатым носом и смуглым лицом – наследство византийских предков.

Он много читал. И станет образованнейшим государем в Европе. Первое, что он усвоил: князья и бояре – воры, ограбившие не только его казну. Они посмели похитить власть, от Бога данную его роду.

Он твердо выучил: с изначала земли русской род его пришел спасти этот народ от боярской смуты. Великие воины варяги... Не силой взяли они эту землю: силой не вышло, словене, весь, чужь и кривичи отбились. А потом сами пришли к его предкам и позвали – править.

Загадка? Лишь для тех, кто не рожден на Руси. Бояре и князья так ненавидели друг друга, так изводили народ поборами и распрями, что люди собрались и решили просить прийти его предков: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите княжить и володеть нами». И князь Рюрик из племени русь с братьями и дружиной пришел... И местные князья были рады: пусть лучше чужой правит, но только не один из них.

Великое потомство дало Рюриково древо! Но бесчисленные потомки заболели местной болезнью – ненавистью друг к другу. И порядок исчез. Они разбили Русь на многие княжества и начали великую битву друг с другом. И когда пришли татары воевать русскую землю, Рюриковичи, братья по крови, радовались бедам друг друга...

Только великая власть могла обуздать хаос, воровство и грабеж, сдержать орды, идущие из Азии. И власть эта родилась, в Москве, в великом городе, которому дано было вновь собрать Русь. И сделали это его прадеды и деда – московские потомки Рюрика...

А полтысячи лет назад здесь, на окраинах ростовской земли, посреди непроходимого бора стоял жалкий княжеский двор, где его прапрадед, князь Юрий Долгорукий, встретился с союзником своим, Новгород-Северским князем. Их «обед силен» и слово «Москва» остались в древней летописи, которую читал мальчик... Видно, что-то предчувствовал князь Юрий, когда обнес княжий двор деревянными стенами, – от тех времен идет Кремль, где за стенами стоят древние соборы и его дворец. За эти пятьсот лет жалкий городок стал первым городом Руси, а все великие, прежде богатые княжества – Рязанское, Нижегородское, Ростовское, Ярославское – обессилели в бранях друг с другом и кровью изошли в борьбе с татарами. Но заслонили от ханов благословенные московские земли, дали владениям его предков желанный покой... и пали под власть его деда, который сделал бесчисленных потомков Рюрика жалкими подданными, боярами на службе московских князей.

Правда, московская ветвь Рюрикова древа была немногочисленна. Великая власть убивает – и старшие в роде истребляли младших, чтоб не дробить собранную землю, чтоб избавиться от мятежей. Дед Иван Третий убил брата Андрея с двумя сыновьями, отец Василий отправил на тот свет двоюродного брата Шемяку-Рыльского... И его мать, Елена Глинская, следовала традиции – извела братьев его отца Юрия и Андрея.

Великий город отстроили его предки. Мать, пока жива была, возила его на богомолье в монастыри. Он помнил, как сразу за городом начинались дремучие леса, окружающие редкие селения при большой дороге. А за лесами – степь необозримая, откуда войной приходили татары казанские, астраханские и крымские – остатки распавшейся Великой Орды...

Он любил возвращаться в свой город. Чем ближе к Москве, тем веселее дорога: тянутся обозы, скачут всадники, лошади мчат сани... И вот уже на холме Кремль с золотыми куполами храмов. У стен, сбегая к реке, стоят бесчисленные дома: слободы ремесленников, светлое дерево на красном морозном солнце... А за Москвой-рекою дымит жаркими печами Немецкая слобода. Здесь всегда шум и гам – иноземцам разрешено пить в будни.

В Москву зимой въезжали обычно в темноте. Ночью пусто: жителям запрещено ходить без причины, только у заградительных рогаток, выставленных на ночь, стоит караул.

Полтора ста тысяч жили в Москве по переписи, которую сделал его дед.

Иван Третий, великий его дед... Это он возвратил величие исчезнувшей было в дыму татарских пожарищ, поставленной на колени стране. Это он покорил удельные княжества, объединил Великороссию – сделал ее вотчиной московских князей. Это при нем Великая Русь вновь почувствовала себя единым народом. Иван Третий Грозный – так называли его тогда. Страшен был в гневе, женщины падали в обморок от одного его взгляда.

И слушал мальчик повествования доброхотов: «Когда князь засыпал, как столбом стояли бывшие удельные князья, дыхнуть боялись, чтоб не разбудить Государя...» Но он уже понял и крепко запомнил: не гневным взглядом правил дед, но топором и публичной поркой умирал он непокорных.

Грозный Государь... Грозной должна быть истинная власть!

И он будет грозным, как его дед, и будет править покоренными князьями, как холопами. «Холопы» – так звались рабы, потомки купленных когда-то рабов, или плененных на войне, или людей, проданных за долги... И при деде его, и при отце – все, от жалкого крестьянина-смерда до князей и бояр, звали себя «холопами Государя», все писали в челобитных: «Се аз холоп твой...» Дед ввел обычай: коли ему не нравилась боярская «встреча» (встречное мнение в Думе), говорил кратко: «Пошел вон, холоп! Ты мне более не надобен!»

В книгах иноземцев о Московии (толмач переводил для него эти книги) он читал с радостью: ничто не удивляло так чужестранцев, как самовластие его отца и деда. «Воля Государей служит в Московии вместо писаных законов... и никто не смеет называть свое «своим», а называют «Государевым»... «Так угодно Богу и Государю»... «это ведает Бог и Государь...» – самые частые слова на Руси...»

Князья-холопы забыли свое место – вот что он крепко усвоил с детства...

Велики были дела его грозного деда! При нем Москва поняла свое предназначение. В прошлом веке пала Византия – оплот православия, и взоры крещеного мира обратились на новую великую столицу православия – обретшую могущество Москву. И дед решил поднять павший византийский венец...

Московские книжники много говорили тогда о древних связях между Русью и Византией, о крови византийских императоров, которая текла в жилах его предков. Это его прапрабабка княгиня Анна, сестра византийских императоров, стала женой Владимира Святого, крестившего Русь. А потом был Владимир Мономах – Великий киевский князь, внук византийского императора Константина Мономаха. Как рассказали мальчику, тогда и привезли на Русь византийские святыни: венец золотой царский («шапку Мономаха», от самого императора Константина), крест животворящего древа, бармы и сердоликовую чашу, из которой пил еще римский кесарь Август.

«Шапкой Мономаха» и был венчан Владимир. (На самом деле шапка эта была монгольской работы, и нетрудно догадаться, как попала она в московскую сокровищницу, – это был всего лишь татарский дар: какой-то хан пожаловал ее одному из покоренных Рюриковичей. Но кому нужна жалкая правда, если вымысел так величав и полезен?)

На века останется татарская шапка русским венцом, «шапкой Мономаха». А «чаша Августа» завершила творение великой легенды, ибо московские книжники утверждали, что Рюри-

ковичи происходят от потомков самого римского кесаря Августа. Так в московских Государях соединились оба Рима – Рим кесарей и Византия.

И его дед воплотил в жизнь эту великую легенду...

В те времена в Риме бедствовала Софья Палеолог – молодая племянница последних византийских императоров. Эта сирота, жившая в опасной близости к ненавистному православному папе, хоть и не славилась красотой лица, зато радовала глаз непомерной дородностью, которую так ценили в женах московские Государы. На Софье-бесприданнице и решил жениться Иван. Не жалкое богатство, но иное, бесценное приданое должна была привезти в Москву Софья Палеолог...

И привезла. И до смерти берегла это богатство. Уже после замужества, на пелене, вышитой ею в дар монастырю, Софья не стала величать себя «Великой княгиней московской», но назвалась «царевною цареградской». Так она сама назвала свое великое приданое... Последняя наследница великих византийских императоров передала их державность (уже не в легенде) Московскому царству.

Разве мог после этого дед, наследник великой Византии, оставаться данником татарских ханов? И он отказался платить дань.

И было «великое стояние» на реке Калке. Дед встал с войском с одной стороны реки, с другой – хан. Долго стояли, ибо Иван *еще* не решался напасть первым, а хан – *уже*... И длилось «стояние» до поры, пока лед не покрыл реку. Теперь ханская конница, столько раз побивавшая русские полки, могла перейти на другой берег. Опасаясь этого, Иван дал сигнал отступить, но его воины, помня об ужасах татарских конных атак, попросту побежали. И тогда татары... побежали тоже: решили, что хитроумный московский князь заманивает их на другой берег. Так бежали друг от друга эти два войска, никем не преследуемые. Так смехом закончилась кровавая история татарского ига.

Теперь дед стал воистину кесарем. Церемонии византийского двора вошли в жизнь двора московского. Наследник Византии воздвигнет в Кремле новый каменный дворец, где родился Иван – его внук. И Грановитую палату, и главный собор державы – Успенский... Свергнув иго хана, он стал именовать себя «самодержцем» (византийский «автократор») и «Государем всея Руси».

Так ожила величавая мистическая идея... Был первый Рим – Рим кесарей. Погиб. Потом была Византия – наследница того Рима. Погибла. А теперь есть град Москва, где правят наследники властителей обеих павших империй. Москва — *третий* Рим и *последний*, ибо четвертому Риму уже не бывать. И «венец Мономаха», лежавший в сокровищнице его предков, ждал великого властителя, который первым будет венчаться в нем на царство, *первым объявит себя царем Руси*.

И вечно полуголодный, заброшенный мальчик знал: этим первым венчанным московским царем *будет он*. И он вернет на Русь время великих воинов, древних князей-завоевателей!

С детства он «стал святыней для самого себя»...

Время летит незаметно. Занятые сражениями друг с другом бояре и не заметили, что мальчику стукнуло тринадцать лет – отрок! Проморгали...

«Волчонок вырос», – говорили они потом. Не понимали: совсем другой зверь появился во дворце. Жестокость и властолюбие византийских императоров, коварство хитроумных московских князей, темперамент и отвага литовских кондотьеров – гремучая смесь... Не волчонок – тигр! Кошачья любовь к игре с жертвой, прежде чем отдаст она свою кровь... и страсти, бешеные страсти! Распалялся – и тогда действовал! В ярости – хитроумен, талантлив... В ярости – в речах убедителен...

Тогда-то он и показал боярам, кто вырос во дворце. Накануне нового, 1544 года посмел обычным языком повелителя заговорить при нем самый наглый и влиятельнейший из Шуйских

– князь Андрей, и Иван, «приведши себя в бешенство», повелел своим псарям схватить думного боярина. Не увидел нового года гордый князь— 29 декабря 1543 года труп потомка Александра Невского валялся на заднем дворе... А Иван, усмехаясь, объяснял бледным боярам: случилась-де досадная ошибка, он повелел отвести в темницу возомнившего о себе боярина, да глупые псари почему-то не поняли, до темницы его не довели – зарезали... И велел, чтоб усвоили: ему уже минуло тринадцать, и править теперь будет – он!

И бояре мигом вспомнили грозного деда...

«Вот тогда-то бояре и начали иметь страх Государя», – напишет современник. Их наглость, небрежение как по волшебству сменились лизоблюдством и угодничеством.

Ко дворцу тотчас вернули любимого Иваном с детства боярина Федора Воронцова, сосланного Шуйскими...

Но он знал: чтобы стать грозной, Власть должна быть и ветреной. Тогда она родит истинный Страх, а следовательно, и повиновение... И уже вскоре, в порыве так ценимого им гнева он казнит любимого Федора Воронцова. Те, кто вчера в опале, сегодня в милости, но уже завтра – наоборот. Сегодня он ненавидит бояр, а завтра прослышавшие об этом псковичи приходят с жалобой на очередного наместника, обобравшего город, князя Ивана Турунта-Пронского. И вдруг бешеный гнев царя обрушивается на них. Как смеют они бить челом на его наместника! На князя! И летописец рассказывает, с каким упоением молодой Государь «палил жалобщикам бороды... сам свечою их поджигал... и повелел класть нагими на землю и топтал их...». Кто знает, куда поведут его страсти, тигриные игры, – и боятся, трепещут... Власть!

Своими тогдашними забавами напоминал он юного Нерона. Орава всадников – Иван, окруженный толпой молодых собутыльников, – с гиканьем несется по Москве. Играют – стараются раздавить попавших под копыта горожан. Как на охоте, загоняют молоденьких женщин и, привезши во дворец, насилуют. Это тоже игра... И вмиг ставшие холопами бояре угодливо славят страшные забавы – пусть веселится Государь!

Как напишет князь Курбский: «Эти карлы, эти угодники говорили: «Ох, как будет храбр он и могуществен!»

Преображение

Но происходит чудо. На семнадцатом году жизни Ивана следуют два венчания.

16 января 1547 года произошло великое. В Успенском соборе митрополит возложил на него венец – ту самую легендарную «византийскую» шапку Мономаха. Мечта сбылась. На Руси появился первый царь.

Но титул Великого князя всея Руси он себе тоже оставил. Царь и Великий князь... Так он обвенчался с Русью.

И уже через полмесяца – второе его венчание. Не чужестранку взял, как дед и отец... Он хорошо выучил русскую историю: иноземцев на Руси боятся, с ними суеверно связывают все несчастья, от них непременно ждут нарушения старых обычаев, которые так ценит его народ. Русскую девушку решил взять в жены! И бояре, и митрополит славили эту неожиданную осмотрительную мудрость юного царя...

Сотни кроватей поставлены в Кремле. Со всех концов Московии свезены красивейшие девушки, лекарь осмотрел их... А потом пришла его очередь – избирать жену. Он выбрал Анастасию – дочь покойного московского боярина из рода Романовых.

«Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами...» Он наизусть знал Библию – образованнейший был царь...

Анастасия – первая из Романовых, взошедшая в царский дворец...

«Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви...» Испуг и радость ее тела... сладость

единственной, которую он любил... «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня...»

Но оба не знают – свершилось! Там, во тьме их брачного ложа уже появился призрак – будущая трехсотлетняя династия, которой суждено будет окончить свои дни в грязном подвале Ипатьевского дома...

Летом того же года загорелась Москва, и пожар был под стать году – великий, невиданный. Много раз полыхал огнем деревянный город с беспечными жителями, но такого не помнили даже летописцы.

Первый пожар был в апреле. А потом случился тот, самый страшный – в жарком июле... Митрополит, на коленях моливший Бога пощадить людей, чуть не задохнулся в Успенском соборе – на веревке спускали его в Москву-реку. Крепко зашибся тогда владыка, долго болел...

После пожара и наступило то, что должно было наступить. Потерявшие кров, все нажитое, люди с проклятиями искали виновных. Вот тогда и прошел слух: город подожгли колдовством, и не кто-нибудь, а родственники царя – иноземцы-ляхи. Вышедшим к народу боярам взбунтовавшаяся чернь прокричала, что княгиня Анна, мать Глинских, вырезала сердца у мертвых, клала их в воду и водой этой кропила город. Поняв, что ему грозит, Георгий Глинский, дядя царя, бросился в Успенский собор. Озверевшая толпа свершила святотатство: несчастного князя растерзали прямо в Божьем храме...

А потом толпа пришла в село Воробьево, где спасались от огня царь с молодой царицей, и потребовала крови Анны и остальных Глинских. Жалкие бояре умоляли: «Отдай их!» Но он уже знал разгадку Власти... Распустились людишки, разгулялись кроваво! Разве, жертвуя новую кровь, усмиришь их? Истинный внук Ивана Третьего, он уже понял свой народ: царство без грозы, что конь без узды...

Сначала толпе сказали, что царя в Воробьево нет. А когда страсти поутихли и стали расходиться люди, пришло время дать ему волю своему гневу. Гневу, от которого всю его жизнь в беспамятстве от страха будут пребывать его бояре...

Радостно Иван дал вырваться ярости, в неистовстве кричал повеления: стрелять в толпу, вязать зачинщиков. И стрельцы весело палили в народ, догоняли и вязали разбежавшихся. Царь повелел их казнить. И вмиг все успокоилось – повинились мятежные. Крестьясь, прося прощения у царя, шли виновные на плаху...

Именно в те дни, как потом будет вспоминать князь Курбский, из пламени страшного пожара возник поп Сильвестр – священник Богоявленского собора в Кремле, домовый церкви московских владык. Там стояли иконы святых покровителей московских Государей, и среди них – суровая икона Иоанна Предтечи, *его* икона, где живописец изобразил топор, который лежал у корней дерева, не приносящего плода...

Сильвестр заговорил с молодым Государем, «как власть имеющий». Он объявил ему, что пожары – это небесный огонь, который брошен на город за грехи Государя, за его своевольные казни. И уже первый пожар был провозвестником гнева Божьего, но царь не понял, и оттого был второй пожар... И пока не поменяет царь свою жизнь, огонь небесный будет пожирать его город, и третий пожар испепелит самого Государя, ибо грозен Бог к нечестивцам...

Поп говорил предсказаниями... Как родитель пугает неразумного сына, он пугал семнадцатилетнего царя Страшным судом, грядущими карами, которые потом Иван насмешливо назовет «детскими страшилками». Но в тот момент, как сам Иван расскажет в будущих письмах к князю Курбскому: «Дух мой и кости вострепетали, а душа смирилась во время пожара и бунта».

Страх и трепет...

И Сильвестр, который не был даже его духовником, станет на тринадцать лет главным советчиком царя, царской Мыслью (а царь будет только Властью). Поп сумеет обуздать Ивана, буйная река его страстей войдет в берега. Все эти годы будет для него Сильвестр грозным

напоминанием о Небесном суде, где Государи перед Всевышним дают ответ за народ, им вверенный...

Так смирил его поп в дни огня... Пока.

Помогла и молодая жена – счастливый выбор! Иван жил страстями, а тогда была страсть к юной жене, радостной, ровной и мудро религиозной. Она, жившая по-Божьи, помогла его душе. Ушли Нероновы забавы. Любовь, прощение, чтение Евангелия – тогда он этим жил. Тигр заснул. Был мудрый царь, ответственный за народ, прекрасный и чистый душой и телом... Брак с Анастасией, вся их тринадцатилетняя жизнь останется великим временем для Руси.

Бояре заседали в Думе, но не они управляли. Вокруг Ивана собрался кружок совсем молодых людей, который впоследствии князь Курбский назовет несколько на литовский манер – «Избранная Рада».

Поп Сильвестр, незнатный дворянин Алексей Адашев, взятый царем «из гноища», из ничтожества, и еще князь Курбский, потомок могучих ярославских князей, Рюрикович, – они вместе с ним принимали тогда решения. В Раде и были задуманы великие реформы...

И пришел прекрасный миг: в 1550 году вся Красная площадь была запружена народом – со всей Великой Руси собрали именитых людей на Земский собор.

Молодой царь вышел к людям. Не во дворце, окруженный сидящими по лавкам сонными бранчливыми боярами, но на площади, запруженной народом, – как бы перед всей землей русской говорил Иван.

Его облик можно представить по воспоминаниям современников, по одеждам, висящим в музейных витринах, по костюмам, оставшимся в его гробу: широк в груди и очень высок был Государь. Рыжеватая борода, голубые глаза и большой тонкий крючковатый нос орла, придававший его лицу опасное выражение...

Таким он стоял на Лобном месте перед людьми своими, и ветер трепал его длинные, рано поредевшие волосы.

Как всегда перед важным поступком, он подзадорил себя, вспомнил с гневом утеснения детства, ненавистных Шуйских и, распалившись до великого красноречия, обратился к митрополиту и народу.

«Ты знаешь, Владыко... сильные бояре расхищали мою казну, а я был глух и нем по причине моей молодости...» Возвысив голос, он говорил самым знатным, чьи шапки, высокие, похожие на митры, поднимались над толпою: «Лихоимцы и хищники, судьи несправедливые, какой дадите вы ответ за те слезы и кровь, которые пролились благодаря вашим деяниям?... Я чист от крови... но вы ждите заслуженного воздаяния!»

Горели бешено глаза царя, и затаился народ на площади – ожидал великой расправы. Но он объявил, что мстить боярам и князьям не будет – пусть ответят они за все свои утеснения на Страшном суде, а сейчас... И голос его сорвался от волнения... Он повелел всем забыть обиды и соединиться – в любви и прощении. Он объявил себя защитником людей от несправедности сильных мира сего... И опять в глазах его были слезы, когда он обратился к иерархам и митрополиту Макарию: «Достойные святители церкви, от вас, учителя царей и вельмож, я требую: не щадите меня в преступлениях моих. Гремите словом Божиим, и да жива будет душа моя!»

Сын жалкого служилого человека Алексей Адашев был пожалован им тогда же в окольничьи. И царь сказал ему: «Взял я тебя из нищих... пожелал я не тебя одного, но других таких же... Поручаю тебе разбирать челобитные... принимать их от бедных и обиженных... Не бойся сильных, похитивших почести и губящих бедных...»

И народ плакал от радости и славил царя. И царица была счастлива. И бояре были довольны: пронесло...

Но они не знали его. Они не поняли – это была уже программа будущего.

«Пожелал я не тебя одного, но *других таких же*...» Призвать новых людей, обязанных не знатности и славе рода, но безвестных, вознесенных его милостью людишек...

Нет, он ничего не простил: ни убийства матери, ни утеснений детства. Хорошо помнил расправу с Глинскими, и подозрительнейший его ум тотчас подсказал тогда: и это сделали они, бояре! Через холопов своих натравили толпу на родичей его, мстили за падение Шуйских! Он не умел забывать...

В это же время по Москве начинает распространяться удивительная челобитная. Некий Ивашко Пересветов, служилый человек, про которого никто на Москве не знал, с какой-то удивительной, дерзостной свободой давал в ней советы самому царю... Впрочем, в челобитной было всему этому объяснение. Оказывается, не знали Ивашку потому, что служил-де он королям – польскому, литовскому и чешскому. А смелость его оттого, что происходил он будто бы от славного монаха Пересвета, погибшего геройски в битве с татарами на Куликовом поле.

Но какие удивительные советы давал таинственный Пересветов! Вся челобитная – одно яростное требование к царю: расправиться со знатными, приблизить к себе простых воинов вместо вельмож, «которые крест целуют, а сами изменяют, которые по лености и трусости ни воевать, ни управлять не умеют...». Крови бояр, грозу против вельмож требовала дерзкая челобитная. «Нельзя Государю без грозы быть...» Царю нельзя быть кротким. Царь град пал из-за кротости Константина... Быть мудрым Государю – значит быть грозным!

Подозрительно предвосхищала «челобитная» и будущие письма царя к князю Курбскому, и Опричнину, и боярские казни...

Неужели тайные царские мысли и будущие дела были продиктованы безвестным и вскоре забытым Ивашкой Пересветовым?

Скорее всего, нет. Это он сам, царь Иван, постарался. Сам и написал челобитную как своеобразный глас народный. Он великий царь Иоанн Васильевич, он и жалкий Ивашка Пересветов – его любимое раздвоение личности. Он обожал писать под чужими именами. За подписями своих бояр – Мстиславского, Вельского, Воротынского и прочих – оставит свои творения царь...

Это актерство жило в нем до смерти: прикинуться жалким и объявиться грозным. Любимые тигриные игры... Но тогда его смирили – Сильвестр и кроткая жена смогли удержать его от желанной крови. Тогда им было легко: ему было всего двадцать лет, и он был счастлив. Десятилетие будут тлеть подавленные ярость, гнев и месть. Но когда вырвутся...

А пока шли его реформы. Вместо устаревших неясных законов вместе с «Избранной Радой» он создавал первый Судебник – свод законов Государства Московского.

Отныне всякому поместью, которым владел знатный человек, по закону соответствовала определенная служба. С каждых пятидесяти десятин землевладелец должен был выставить ратника на коне, да еще и запасную лошадь в придачу, или откупиться. Теперь, уже по закону, все знатные люди были объединены главным – военной службой Государю.

Попытался он урегулировать и отношения с церковью. Только в некоторых городах монастыри в случае войны выставляли ратников. Между тем земли у церкви становилось все больше – уже треть государства находилась в ее руках. Умирая, грешные люди старались замолить свои грехи и часто отдавали монастырям свои владения.

Спор об этих землях резко разделил русскую церковь. Знаменитые «нестяжатели» во главе со старцем Нилом Сорским, человеком святой жизни, выступали за возвращение к временам апостолов и древнего христианства – за аскетизм церковной жизни. Они проповедовали отказ от землевладения, от крестьянского труда – чтобы в монастырях трудились только сами монахи. Церковнослужители, принадлежащие к кругу Великого старца, обличали распутство, которое царило порой в обителях, особенно в тех, «где купно проживали монахи и монахини», лихоимство, и главное – невежество, эти бесконечные апокрифы, басни, сочиненные и переписанные полуграмотными попами...

Но церковь от земли не отказалась. Собор 1531 года объявил «нестяжателей» еретиками. Сторонники Нила Сорского подверглись суровому наказанию, в темницу Симоновского монастыря отправился знаменитый Максим Грек.

Это был великий подвижник и церковный мыслитель, объездивший в юности всю Европу, друживший с гениями Возрождения. Проповеди Савонаролы перевернули его душу. Он постригся в монахи, жил в знаменитом Афонском монастыре, где прославился великой ученостью. Из Афона и был отправлен на Русь по просьбе отца Ивана, Василия, который просил «прислать ему ученого грека». Максима встретили ласково, поселили в Чудовом монастыре в Кремле. Он перевел множество богословских сочинений из библиотеки Великого князя, проверял церковные книги, где нашел множество ошибок, – «разжигаемый божественной ревностью, очищал плевелы обеими руками».

Но «многие нестроения» московской жизни он стерпеть не мог. Он объявил, что «неприлично, бесполезно и опасно» владеть монахам землею, вызвав ненависть тогдашнего митрополита Даниила. И когда он посмел выступить против греха – расторжения брака Василия с Соломониной, – чаша терпения переполнилась... Так начались страдания Максима Грека.

В 1551 году по просьбе молодого царя был созван новый Собор для обсуждения церковной реформы. На него съехались иерархи со всей Великой Руси. «Предметы рассуждения» Собора разделены были на сто глав, и прозывался он с тех пор «Стоглавым собором». Остались вопросы царя Собору и ответы на них. Царь говорил о дурном употреблении церковных земель, о грешной жизни многих священников. С изумлением выслушали иерархи знакомые им еретические рассуждения Нила Сорского и заволжских старцев из уст царя... Ответы их были ловко-уклончивы, менять свою сытую жизнь они не собирались. И великий книжник митрополит Макарий занял свою обычную позицию в споре – не занимать никакой позиции. Благодаря этому он и оставался митрополитом во все годы изменчивого Иоаннова правления.

Когда Максим Грек из темницы своей умолял Макария о помощи, митрополит отвечал классической фразой: «Узы твои целуем... яко одного из святых, но помочь тебе не можем...»

Но все-таки в чем-то им пришлось уступить царю, «многомудру и искусну в споре», – церковь лишилась права приобретать вотчины без согласия светской власти. Рост церковных земель замедлился.

Иван навсегда запомнил, как они ловчили, как изводили его уловками и, главное, не боялись его гнева. Хотя все было так ясно – он требовал от них вернуться к праведной жизни и отдать такую нужную государству землю! И когда в нетерпеливом бешенстве он захотел обличить иерархов – Сильвестр не дал. Поп стал объяснять ему сложности церковной жизни, требовать терпимости: «Церкви нельзя грозить!» Сильвестра поддержали царица и Адашев.

Он часто оставался один против них всех. И он сдался... Пока.

Сильвестр написал для молодого царя бессмертную книгу – «Домострой». Эта книга (которая на самом деле есть компиляция из древних рукописей) была создана по образцу «Почтения Владимира Мономаха», одного из любимых предков Ивана.

«Домострой» – удивительное зеркало, в котором застыло изображение исчезнувшего мира. Мира религиозной и житейской мудрости, семейного благочестия Древней Руси, мира Рабства и Власти.

Во второй половине XIX века наш великий драматург Островский откроет перед русским обществом заповедный мир купеческой Москвы. И страна поймет с изумлением: оказывается, древний мир, описанный в «Домострое», жил и заботливо сохранялся в России – в приземистых каменных домах московских купцов...

Рабство и Власть повелевают всей жизнью семьи и жизнью главной героини «Домостроя» – знатной женщины, боярыни или княгини.

Проклятиями «вкусившей от змия» наполнены переводы множества церковных византийских книг в монастырских библиотеках: «Женщина есть существо двенадцать раз нечи-

стое... сеть для мужей...» и прочее, и прочее, включая знаменитый рассказ о древнем философе, который предпочел жениться на лилипутке, сказав знаменитое: «Я лишь выбрал наименьшее зло». (Кстати, множество таких же цитат приводят авторы «Молота ведьм» – этой беспощадной инструкции инквизиции по охоте за «ведьмами». Весь XVI век в просвещенной Европе горели костры, на которых были сожжены тысячи женщин.)

В Московии «женский вопрос» был решен менее радикально. «Опасный сосуд греха» было решено усердно прятать – и боярыня «сидит за двадцатью семью замками и заперта на двадцать семь ключей...». В терем знатной затворницы ведет особый вход, и ключ от него у господина – мужа. Из теремного окна видит она только двор, обнесенный высоким забором. Она не может увидеть даже самое себя, потому что в доме времен Ивана нет зеркал – они объявлены «грехом», ибо через эту лазейку в женскую душу, столь склонную к соблазну, может войти дьявол...

День затворницы начинается рано. Не слуги должны ее будить – она будит слуг и следит, как они работу свою исполняют. «Сама никогда бы не была без дела... и если муж придет, сама бы за рукодельем сидела...»

И все время ей следует думать, как угодить мужу – Власти! Ибо жизнь внутри дома есть зеркальное отражение жизни за окном. Вертикаль Власти пронизывает московский мир. Государь – это Бог для подданных, муж – государь и Бог для жены и слуг. «Жены мужей обо всем спрашивают и во всем им покоряются...»

Как Государь строго, но по-отечески должен наказывать подданных за проступки и неповиновение, так и государь-муж должен карать нерадивую жену. И «Домострой» подробно описывает, каким должно быть наказание. Бить боярыню следовало не перед слугами, но наедине. Стегать надо плетью, не забывая «полезные правила битья»: «По уху и лицу не бить, и по сердцу не бить... не бить ни кулаком, ни посохом, ни железным, ни деревянным» (не знающие полезных правил, видно, часто бьют и кулаком, и посохом). Но люди разумные и добродетельные, «сняв с нее рубашку» (эротика тут ни при чем, так добро сохраннее), умеют «вежливенько побить плеткой», а потом простить жену и помириться...

В темной карете, пряча лицо, ездит теремная затворница по городу, через пузырь окна видит жизнь простого народа. Она совсем иная – разнузданная, пьяная жизнь людей, которые не очень-то опасаются дьявола. У них общие бани – там вместе моются голые, распаренные, часто подвыпившие мужики и бабы... «Руси есть веселие пити» – так сказал не кто-нибудь, сам Владимир Святой! И иноземец Олеарий, дивясь, описывает: из кабака вышла пьяная женщина, упала на мостовую, на нее набросился пьяный мужик, и все непотребство случилось на глазах хохочущей толпы...

Среди этой нищей, пьяной и срамной толпы ходили юродивые – эти живые святые Московской Руси...

Вот он, нагой человек в веригах, зашел в лавку, забрал, чего хотел, и пошел прочь. Хозяин вослед ему только низко кланяется – большая честь, коли зашел к тебе юродивый. Но и большое испытание: если намешает чего в тесто ловкий купец или еще как словчит, юродивый есть не будет, Божьим даром все почувствует и молча пирог в снег выкинет... Однако на этот раз дело чистое: пироги поел и прямо по снегу, шепча и выкрикивая нечленораздельные слова, пошел этот удивительный святой.

Юродивые... «безумные Христа ради», чьими грозными словами, а порой открыто срамными поступками Бог обличает наши пороки, которые мы стремимся держать в тайне. Этим странным подвижникам ниспослано великое чудо – пророчествовать. Знаменитый юродивый Василий Блаженный, живший на Москве, предвидел великие пожары и горячо молился наказу... И сам царь Иван говорил о Василии, подвергавшем себя постоянным мучениям и отягчавшимся тяжелыми веригами: «Провидец и чтец мыслей человеческих».

Один из псевдонимов, которыми любил подписываться обожавший самоуничтожение царь, – «Парфений Юродивый»...

Когда Москва будет хоронить Василия, царь с боярами понесет его одр. В чудном храме, построенном на Красной площади, упокоятся его мощи, и народ будет звать этот храм именем жалкого нищего – Василия Блаженного.

Сам Сильвестр сочинил в «Домострое» лишь одну, последнюю главу – «Благословение от Благовещенского попа Сильвестра моему единокровному сыну Анфиму». В ней загадочный поп, возникший из московского огня, упомянул о своей прежней жизни (оказалось, до Москвы служил он в Новгороде): «Видел ты, сколько сирот и рабов убогих мужского и женского пола в Новгороде и Москве я вскормил до совершенного возраста...» Поведал он и о своих правилах жизни: «Ты, сын, всякую обиду на себе носи и терпи, терпи... Если случится общая брань, лучше ударь своего, только чтоб брань утолить...»

Но соблюдение правил христианской жизни, как учит своего сына Сильвестр, важно прежде всего потому, что... «приносит выгоду»!

Впрочем, вряд ли сам Сильвестр так думал. Скорее, это была единственная и самая легкая возможность доказать сыну, что надо выполнять христианские заповеди. Ибо, к сожалению, как справедливо отмечал наш великий историк Соловьев, русский человек не слишком изменился с X века, со времен силой уничтоженного язычества. Людям было трудно понять, почему надо возлюбить ближнего, как самого себя. Приходилось доказывать по-язычески – выгодой.

Поразительное сочетание христианства с язычеством в душах людей отражает нравы Московии. Именно поэтому столько внимания и уважения здесь уделяли церковным обрядам – это были своеобразно преломленные в сознании вчерашние языческие заклинания.

Эту слабость душ и докажет Смута...

Заканчивая «Благословение», Сильвестр подвел итог – о выгоде своей праведной жизни: «Подражай мне. Смотри, как я почитаем и всеми любим... потому что я всем уноровил...»

Но это – грех! Невозможно «всем уноровить», если хочешь прежде всего «уноровить» Богу, – об этом столько сказано в Евангелии, которое так любил цитировать поп. И скоро придется узнать Сильвестру эту Божью правду на собственном опыте...

Чаша крови

Пришло время похода на Казанское ханство.

Рядом с Иваном скакал его двоюродный брат, последний удельный князь, оставшийся в живых, – Владимир Старицкий. Отца его погубила в тюрьме мать Ивана... И вот царь по молению Сильвестра искупил грех – выпустил из темницы Владимира и по-братски около себя держит...

Пока.

Великий день Руси приближался.

Сперва Иван обратился к хану и казанцам – просил их сдаться, но они, как и подобает храбрым воинам, ответили: «Умрем или отсидимся в крепости!» И тогда царь сказал своей рати: «Изопьем общую чашу крови, братья!»

Наступило *то* утро. В благостной тишине звучали только бубны и трубы, когда грянули два чудовищных взрыва и стены казанские, и обломки строений, и останки людей поднялись в воздух и пали на город. Это взорвался порох в подкопах, и в проломы стен ринулась рать.

Уже теснили казанцев к ханскому дворцу, когда началось постыдное... Богат и велик был город Казань, и царские ратники, забыв о битве, начали грабить. Царь знал слабости своих воинов, он все предусмотрел – за ратью шли царевы люди с обнаженными мечами, чтобы не

допустить «опасного срама». Но не знал он, что и надзирающие тоже радостно примут участие в грабеже.

И вот уже потеснили его рать, уже татарские сабли рубили русские головы, уже слышался крик страха и боли: «Секут, секут!» – когда Иван показался у городских ворот с новой ратью, которая решила исход сражения. Его воины были беспощадны – «трупы лежали вровень со стенами»... Но оставшиеся в живых казанцы отказались сдаваться. Они пытались вырваться из горящего города и все погибли. Только своему хану не позволили умереть – выдали его живым.

Иван крестил татарского повелителя – это был символ победившего православия. Крест возсиял над поверженной Казанью.

Величественное послесловие к татарскому игу!

Надо было жить в то время, чтобы понять впечатление победы. Ржанье татарских коней – страшный голос набега, за которым следовали кровь, пожары и рабство, могущество кривой азиатской сабли – все становилось историей. Осталась только татарская кровь в жилах потомства изнасилованных женщин, и вчерашние завоеватели будут еще долго напоминать о себе – узкими глазами рождавшихся русских младенцев.

Впервые Запад пошел на Восток. Впервые Азия отступала. Впервые после татарского рабства на Руси явился молодой царь, который вернул великие времена князей-завоевателей. И со слезами умиления его любимец и бесстрашный воевода князь Курбский, заслуживший в кровавой сече прозвище «бич Казани», славил царя...

А потом пришла очередь Астраханского ханства. И он завоевал его.

К Астрахани его воины плыли по великой реке Волге. И они видели развалины Старого Сарая – заброшенной древней столицы Золотой Орды. Сколько лет в эту татарскую столицу, «горький памятник русского стыда», приезжали на поклон, а часто и на смерть, русские князья... Но это был прошлый стыд, впереди была слава – плен Астрахани.

Между завоеванием Казани и падением Астрахани произошло тревожное событие, впрочем, скоро забытое. Между тем оно оказалось впоследствии роковым для многих... Все началось с того, что Иван внезапно заболел, и хворь его была объявлена смертельной.

Все были уверены, что душа его готовится отлететь. А в это время князь Владимир Старицкий, двоюродный брат царя, выпущенный им из темницы, и мать его пиры устраивали! Будто не Государь и родич их на смертном одре лежит, а радостное происходит...

Он был великим актером, как и многие деспоты. Заболел ли он или только сделал вид, что заболел, – мы никогда не узнаем, тайна погребена вместе с ним. Во всяком случае, внезапная болезнь, столь же внезапно завершившаяся благополучным выздоровлением, дала ему возможность многое проверить.

Со «смертного одра» он призвал бояр целовать крест его малолетнему сыну – и вмиг осмелели вчерашние рабы, раздались непокорные голоса: «Не хотим пеленочника, а хотим князя Владимира Старицкого!» И многие бояре целовать крест сыну Ивану не захотели. В темных переходах дворца, под низкими сводами палат толпились, шептались, плели заговоры те, кто втайне ненавидел его и весь род московских Государей. И были с ними даже те, кто любил его, ибо страшились они, что при малолетнем его сыне власть опять захватят временщики – родичи царицы, не жаловавшие Адашева и всю «Избранную Радугу». Потому-то отец Адашева, царского любимца, вознесенного им из ничтожества, захотел присягнуть Старицкому. И казначей его верный, Фуников, тоже решил к Владимиру перейти. Они отдавали на гибель царского сына, ибо хорошо знали: удавят младенца бояре, как только отец глаза закроет.

Так свершился этот, как впоследствии назвал его сам Иван, «мятеж у царевой постели»... Но самые умные были молчаливы – они знали, как надо действовать: «Заметь их имена и запиши». Хорошо выучили их отцов московские Государы...

Сильвестр метался между ним, умирающим, молившим присягнуть сыну, и мятежными боярами. Поп всем пытался угодить, всех примирить, вместо того чтобы стыдить тех, кто

законному царю крест целовать не хотел. Всех уговаривал – и тех, кто царю хотел быть верен, и тех, кто сомневался... Так он о пользе государства заботился, забыв о верности ему, царю.

Сам Иван писал потом о взбунтовавшихся боярах: «Воспатались они, как пьяные... решили, что мы уже в небытии... забыв присягу нашему отцу: не искать другого Государя, кроме наших детей... задумали... посадить на престол князя Владимира... а младенца нашего погубить...»

С великим трудом усовестили их тогда немногие верные царю бояре, заставили образумиться. Но те лишь вид сделали, что образумились. Решили обождать, пока царь не преставится.

А Иван выздоровел. Однажды застали его бояре сидящим на ложе, и царь объявил им со смешком, что Бог исцелил его...

Сразу после болезни он отправился на богомолье с женой и сыном в Кирилло-Белозерский монастырь – по случаю своего чудесного выздоровления. Из паломничества он привез рассказ о встрече с бывшим коломенским епископом Вассианом Топорковым, когда-то в миру верно служившим его отцу Василию, а после его смерти лишенным епархии боярами. Дескать, монах сказал ему: «Никому не позволяй учить себя – будь сам всем учителем. Ибо Государь должен учить, а не учиться, повелевать, а не повиноваться».

И неподвижно, мрачно было лицо царя, когда он пересказывал соратникам из «Избранной Рады» слова старца. Будто завет отцов, забытый им, пересказывал...

Но еще силен авторитет Сильвестра, еще верит царь в адашевский ум, еще ценит Анастасия и попа, и Адашева, прощая окольному нелюбовь к своим родичам. Нет, не смеет еще Иван против них выступить. Но внутри него уже разгорается пламя... Дуб растет медленно, но живет века – так и гнев, и зломыслие великих тиранов. До смерти он им не забудет «мятеж у постели» и потом напишет князю Курбскому: «Вот каким вашим доброжелательством насладились мы от вас во дни болезни».

Так прозвенел первый удар колокола. А бояре не услышали. Не поняли...

Впрочем, его сыну-младенцу жить суждено было недолго. По дороге в Кириллов была у царя еще одна встреча, о которой он не любил рассказывать: в Троице-Сергиевой лавре встретился он с Максимом Греком, которому разрешено было наконец покинуть заточение. И праведник осудил Ивана за его паломничество. Он посоветовал ему, вместо богомольного усердия, «благодворить на престоле», позаботиться о многих сиротах и вдовах, льющих слезы и в нищете пребывающих после «избиения войска в Казанском походе», чтобы Господь не разгневался и не отнял у него собственного младенца.

И вскоре кормилица глупая в реку уронила его первенца – застудили сына. Скончался младенец уже в дороге... Но судьба была тогда милостива к нему. Еще двоих сыновей родит ему любимая Анастасия – Ивана и Федора.

Минуло пять лет после болезни. Уже пало Астраханское ханство, а он все продолжал свои великие завоевания. Сильвестр предложил ему завоевать Крым – и вся «Избранная Рада» решила так. Они говорили: страна желает покончить с татарским унижением.

В Крыму, за Перекопом, сохранялся злой остаток татарского пленения Руси – разбойное Крымское ханство. По дикому Муравскому шляху – на маленьких быстрых лошадях, не разжигая костров, без еды – молниеносно пересекали крымцы всю Русь, сжигая и грабя города. И возвращались обратно с ременными корзинами, привязанными к седлам, откуда высовывались светловолосые детские головы. Историк напишет: «Невольничьи рынки в Турции задыхались от белокурых красавиц с голубыми глазами и мальчиков с льняными волосами». А купцы, глядя на бесконечную процессию русских невольников, вопрошали: «Остались ли еще люди в той стране?»

Но Иван выбрал Ливонию – выход к морю, путь в Европу, на Запад. Ливония (нынешние Эстония и Латвия) принадлежала когда-то его великим предкам и была завоевана рыцарями Тевтонского ордена.

Однако от древних воинственных традиций ордена остались только предания. Обильные пиры, потаскухи и отсутствие войн сделали свое дело – рыцари превратились в сытых феодалов. Потомки воинов жили в неге и роскоши, долгий мир, превративший Ливонию в земной рай, отучил их от сражений. Теперь их земли стали лакомым кусочком, о котором мечтали и Речь Посполитая, и Дания, и Швеция.

Иван решил вторгнуться в Ливонию первым.

Отказ от нападения на Крым он объяснил своим сподвижникам тем, что, дескать, опасается войны с Турцией, которая поддержит Крымское ханство. Члены «Избранной Рады» изумились его строптивости. Они считали дело решенным, ибо отвыкли от того, что царь может их не послушать. Они начали убеждать Ивана, говорили: если напасть на Крым, выступить может одна Турция, а если воевать с Ливонией, встанут и Речь Посполитая, и Дания, и Швеция – европейское войско, с которым не сладить хоть многочисленной, но плохо обученной его армии...

Соратники громко сердились. «Поп... с вами, своими советчиками, жестоко нас порицал», – писал Иван потом.

Он знал: они правы! Но это был главный миг его жизни, давно задуманный бунт против непрощенных советчиков, похитивших его волю. Хватит! То, что позволял он им в свои юные годы, теперь, в годах мужества, не позволит! Они, как ровня ему, смели высмеивать его решения. Теперь многолетнее унижение закончено!

«На меня вы смотрели, как на младенца... Взрослый человек, я не захотел быть младенцем... и если смел я возразить самому последнему из советчиков, меня обвиняли в нечестии, – писал он впоследствии одному из главных «советчиков», князю Курбскому. – Не как к владыке вы ко мне обращались... с надменными речами».

Все, что копил он в себе, прорвалось! И они увидели царский гнев и услышали его яростный голос: «Ливония!»

Ливонцы предвидели войну. С тех пор как русский царь покорил татарские ханства, ждали они неотвратимого. И оттого постановили: не снабжать Ивана оружием, не пускать к нему мастеров-оружейников.

Решив начать войну, царь-актер устроил представление: позвал на пир ливонских послов. Но на щедром царском пиру, где лилось рекой вино и ломился от яств стол, ливонцам ничего не дали. Они сидели, окруженные пьющими и едящими, но их обносили едой и чашами. А потом голодных послов выгнали прочь с пира.

Вослед отъехавшим оскорбленным послам Иван послал «ужасительный поход». Огромная разноплеменная армия (русские, покоренные татары, послушные ногайцы) вторглась в Ливонию. Рыцари заперлись в своих замках, бросив городские посады и беззащитное население на произвол судьбы. И полудикая азиатская орда жгла, грабила, убивала, насиловала женщин и тут же вспарывала им животы...

Так началась Ливонская война, которая продлится два с лишним десятилетия.

Грозный Иван

А потом пала последняя узда, сдерживавшая его страсти, – умерла Анастасия. Ее смерть разделила Иваново царствование: как когда-то женитьба на ней была началом великого и светлого, так сейчас ее уход стал началом явления нового царя.

Анастасия умерла от болезни. Но он, видевший столько боярских злодейств, должен был заподозрить (и охотно заподозрил) – бояре отравили! Хотя, когда Анастасия закрыла глаза, никаких обвинений никто от него не услышал.

Тогда он не посмел... Тогда была только скорбь – нечеловеческая, яростная. Ушла единственная, которую он смог полюбить, которая его понимала и любила. Не боялась – любила. Следующие будут бояться...

Ее прах в белом саркофаге (вместе с прахом матери Ивана и бабки, знаменитой Софьи Палеолог) лежит сегодня под сводами подвала Архангельского собора. После уничтожения в 1929 году большевиками Вознесенского монастыря (там хоронили московских цариц) через Соборную площадь на телегах повезли древние гробы к Архангельскому собору. И Софью Палеолог, и жену великого Дмитрия Донского, и Елену Глинскую, и Анастасию – всех ждало страшное переселение. Через пробитое отверстие саркофаги были спущены в подвал собора...

Мне удалось их увидеть. По крутой лестнице, держась за выбитые в камне перила, я спустился в подвал, заставленный белыми гробницами. Стоя над разбитым саркофагом матери Ивана, Елены Глинской, где видны были кости и остатки истлевших одежд отравленной красавицы, смотрел я на стоящую у самой стены мраморную гробницу Анастасии. Там, под плитой, лежала она, чья смерть перевернула историю Руси...

Впоследствии, решив обвинить врагов своих в отравлении Анастасии, Иван напишет князю Курбскому: «За что с женою вы меня разлучили?.. *Если бы не отняли юницы моей... Кроновых жертв бы не было*».

Кронос – кровожадный отец Зевса, пожиравший своих детей... Теперь и он будет пожирать вверенных ему детей – потомков великих родов.

Уже вскоре после ее смерти начались Кроновы жертвы...

Первым пал Сильвестр: надоел он царю. Как писал сам Иван: «Грянет ли гром, заболит ли ребенок – во всем учил видеть поп наказание Божье». В семнадцать лет он еще боялся, но теперь, в тридцать, ему были смешны поповы «детские страшилки».

Падение временщиков обычно означало их казнь. А он Сильвестра не тронул – помнила еще царская душа «страх и трепет» в дни пожара. «Отнесся к попу милостиво» – просто прогнал из Москвы, сослал в белые ледяные ночи: сначала в Кирилло-Белозерский, а потом в Соловецкий монастырь. Пусть учится, постигает – нельзя «всем уноровить».

Алексея Адашева он отправил в Ливонию – сначала воеводой, затем наместником. Но потом не выдержал – повелел взять под стражу и учинить суд над вчерашним любимцем. «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь...» Но не захотел он казни Адашева на глазах у радостных бояр, и вчерашний царский любимец подозрительно скончался в одночасье.

А вот брата его он казнил... Ибо вскоре детская мечта его осуществилась: он стал грозным, и таким грозным, что дедово прозвание потомки навсегда забудут. Грозным в русской истории останется он один – царь Иоанн Васильевич.

Все сподвижники Адашева отправились кто на плаху, кто в монастырь – закончилась «Избранная Рада»... К 1560 году только один из ее членов по-прежнему жил во славе и на свободе – князь Андрей Курбский, потомок владык когда-то великого Ярославского княжества, воевода, прославившийся во многих битвах, «добрый и сильный», сподвижник вчерашних Ивановых реформ... Царь отправил его на Ливонскую войну главнокомандующим – Первым воеводой Большого полка...

Похоронив любимую жену, Иван скорбел, но по-царски. Новый брак открывал великие возможности венценосному вдовцу...

Начиная войну с Ливонией, он понимал, что Речь Посполитая в стороне не останется. Брак с польской принцессой мог бы ее нейтрализовать... И уже через несколько дней после смерти Анастасии русское посольство отправилось к польскому королю Сигизмунду Второму,

у которого было две сестры. Послам было велено посмотреть, какая из них краше, здоровее и, главное, дороднее. (Изобилие трапез, обязательный долгий сон после обеда и отсутствие движения у людей знатных порождали тучность, дородность, которые у мужчин были признаком человека важного, имеющего право на уважение, а у женщин – необходимой частью красоты.)

Пока послы описывали в подробных донесениях, кто из принцесс дороднее, Сигизмунд отказал Ивану. Польский король предпочел получить Ливонию и вскоре выступил войной против Государя всея Руси.

Но Иван нашел себе пару. Когда-то страх и трепет перед Богом помогли ему обрести любовь и согласие с Анастасией, теперь требование абсолютного подчинения, ненависть к любому прекословию, жажда отмщения, казалось, породили вторую Иванову жену.

Новой владычицей царской постели стала черкесская царица Мария Темрюковна – дочь кабардинского князя Темрюка, который должен был теперь помогать ему в защите от набегов крымского хана. «Черная женщина» – с черными волосами, с глазами словно горящие уголья, «дикая нравом, жестокая душой»... Восточная красота, темная чувственность и бешеная вспыльчивость... Во дворец пришла Азия. Восточная деспотия, насилие – азиатское проклятие России... «Пресветлый в православии», как называл Курбский молодого Ивана, навсегда исчез...

Теперь вместо прежних любимцев, мыслителей из «Избранной Рады», во дворце – иные люди. Беспробудно пьют, веселятся... непрерывный пир, точнее – оргия. На многочасовое царское застолье приглашаются скоморохи, шуты и даже колдуны, которые нынче – в царевой свите.

Колдунов и колдуний из Лапландии держит теперь православный царь у себя во дворце! Впрочем, и русские скоморохи считались не только лицедеями, но и кудесниками. Это была потаенная, языческая Русь, все время существовавшая рядом с православием... В ворчанье прирученного медведя, которого скоморохи водили по городским дворам для забавы народной, в звуках ветра и даже в человеческом следе на песке читали они судьбы людские. Скоморох мог взять горсть земли из-под ног прошедшего человека, прочесть заговор и сгубить его. Опасны были эти люди – языческая смесь актеров и колдунов...

Во время пиров с шутами и скоморохами, плясавшими в древних потешных масках, полюбил Иван кроваво потешаться над гордыми боярами.

Когда начались поражения в Ливонии (битвы под Улой и Невелем), царь не мог признать неудачи своей армии. Всем бедам в государстве, как и положено деспоту, знал он всегда только одно объяснение – заговор и измена боярская... Так погибли два знаменитых воеводы из славного рода Оболенских – князь Михаил Репнин и князь Юрий Кашин, участвовавшие в ливонских баталиях.

Гибель Репнина царь-актер поставил театрально... Во время пира, когда с гиканьем и свистом у царского стола плясали любимые царем скоморохи, Иван повелел славному воеводе натянуть скоморошью маску и тоже плясать. Но князь отказался присоединиться к «проклятым церковью колдунам», с достоинством отшвырнул прочь маску, протянутую царем.

И царь разрешил этот спор между повелением Государя и религиозными установлениями. Во время всенощной за Репниным пришли в его домовую церковь. Осанистый боярин стоял на коленях – молился. Близ алтаря его и убили... Зарезали в ту же ночь царские слуги и родича Репнина, князя Кашина, – тоже подождали, когда он пойдет на молитву, и убили, «наполниша кровью весь помост церковный».

Пусть знают: Бог не спасет от гнева Государева. Все должны по-холопы чтить отныне одну волю – его, царскую. Она теперь – воля Божья.

И убивал теперь царь в церквях, со скоморошьей шуткой, скаля зубы над человеческой смертью. Боярин Никита Казаринов-Голохвастов бежал от царского гнева в монахи и даже

принял схиму, «ангельский чин». Но царь велел казнить его, сказав, усмехаясь: «Он у нас теперь ангел, и подобает ему на небо взлетети».

Пришла первая опала на князя Владимира Старицкого и его старуху мать – царь начал платить по давним долгам, за далекий «мятеж у царской постели». Но пока он оставил их в живых. Пусть поживут в страхе ожидания кары – это куда хуже смерти...

Между тем в Ливонии оставался последний призрак ненавистной ему теперь поры – князь Андрей Курбский. В то время Ивановы войска одержали славную победу под Полоцком – пожалуй, последнюю великую победу.

Из-за раны князь Андрей не участвовал в битве, и это тоже показалось Ивану подозрительным...

Вскоре князь был отозван из войска и послан наместником в Юрьев (ныне – эстонский город Тарту). Курбский помнил: гибель Адашева началась с назначения наместником именно в этот город. Слышал князь и обо всем, что происходило на Москве, где споро работали топор и плаха...

Была ночь, когда князь позвал жену и спросил: чего она пожелает – остаться с будущим мертвецом или расстаться с живым? И выбрала княгиня... Расставание было кратким. Он поцеловал маленького сына, и слуга Василий Шибанов помог дородному князю перелезть через городскую стену, где ждали оседланные лошади. И Курбский поскакал к Иванову врагу – польскому королю.

Уже из Литвы князь Андрей отправил свое первое послание Грозному. По рассказу «Степенной книги», слуга Курбского Василий Шибанов доставил это знаменитое письмо в Москву и прилюдно вручил царю, когда тот стоял на Красном крыльце. Как равный равному писал потомок ярославских князей потомку московских «кровопийственных», по выражению Курбского, князей, которые не ратными подвигами, но «скопидомством и хитростью, прислуживая неверным» захватчикам-татарам, завоевали русскую землю...

На глазах народа Иван взял письмо, а потом молча пробил ногу посланца острым концом своего посоха. И, опираясь на посох, неторопливо читал царь послание князя Андрея, а Шибанов терпел нечеловеческую боль. Истекая кровью, уже умирая, верный слуга славил пославшего его на смерть господина...

Кстати, царь в ответном письме своем Курбскому, укоряя князя за то, что нарушил крестное целование служить ему, Ивану, писал: «Как же ты не стыдишься раба твоего Васьки Шибанова? Он ведь сохранил благочестие свое и перед царем, и перед всем народом... стоя на пороге смерти, не отрекся от крестного целования тебе, прославляя тебя и вызываясь за тебя умереть...»

После гибели Шибанова следующие письма от Курбского доставлялись царю проверенным способом XVI века: их тайно подбрасывали в Кремль. Назывались такие письма «подметными»...

«Приняв и прочитав внимательно» послание Курбского, царь пришел в бешенство. Князь хорошо его изучил, стрелы попали в цель – все укоризны в избиении «добрых и сильных» бояр, имена погубленных им воевод, напоминания о том, чего он будет страшиться до самой смерти: о Страшном суде, о безвозвратно ушедшей праведной жизни, а главное – об угрызениях совести, с которыми Грозный всю жизнь будет бороться. Он будет молиться, простаивая часы на коленях, молиться яростно и страстно, чтобы потом... безудержно грешить. И вновь молиться.

«Твои страсти тебя терзают, – торжествуя будет мучить его Курбский и в следующих письмах. – Ты страдаешь днем и ночью. Тебя измучила совесть... страшат видения Суда и Закона... и, словно звери, окружают тебя твои злодеяния...»

Царь спешит ответить. Ноют раны от ядовитых стрел князя... И он сам торопится заклеить обидчика. Писать – это его стихия. Не был бы Иван царем, стал бы первым великим рус-

ским публицистом. Анонимный автор, излагавший прежде свои мысли под именами Ивашки Пересветова, своих бояр и даже Юродивого, наконец-то говорит во весь голос от своего имени.

Это был его ответ не только опальному князю, но всем тайным изменникам, «во все царство письмо на крестопреступника князя Андрея Курбского со товарищи». Впрочем, и первый российский диссидент, получивший возможность публично спорить с властью, Андрей Курбский тоже распространял свои послания по городам. Оба хотели, чтобы об их словесной битве знала вся земля русская.

Как всегда, в гневе Иван гениален. Его письмо – это страстный монолог. Он, видимо, диктует – льется его живая речь.

На небольшое письмо князя царь отвечает на множестве страниц. То крик боли и покаяния, потрясающая искренность, страстное желание оправдаться... нет, не перед Курбским – перед собой! («Как перед священником изливаешься», – напишет насмешливо князь о царском ответе.) Но искренность сменяется любимым Ивановым актерством – послание пересыпано бесконечными ироническими вопросами к князю. Царь обожает публичные диспуты, но умеет сражаться и на бумаге.

«Не узришь ты моего лица до Смертного суда», – пишет ему Курбский. «А кому захочется твое эфиопское лицо увидеть?» – парирует Иван и тотчас срывается на вопль ярости – следует поток поношений князя: «дерьмо смердящее», «псово лаяние», «бешеная собака», «бесовское злохитрие»... Но ярость сменяется печалью: «А спрашиваешь меня, почему чистоту не сохранил? Все мы есть человеки...» И тут же – презрительное высокомерие недостижимого владыки...

Все перепутано в царских ответах, как и в душе царя.

В их переписке – первая русская полемика о свободе, о власти и всеобщем холопстве на Руси. Причем, согласно традиции наших полемик, это спор глухих – каждый пишет только о том, что его интересует, старательно не отвечая на конкретные доводы и вопросы оппонента.

Курбский упрекает Ивана в бессмысленном истреблении бояр и воевод, которых царь заменил «жалкими каликами и угодниками нечестивыми». Иван же отвечает о своем: царь, как Бог, «даже из камня может воздвигнуть чада Авраама», и вообще, «с Божьей помощью найдутся вельможи у меня и *опричь вас*, изменников».

Курбский пишет о том, что «прелютые и прегордые русские цари... советников своих за холопов держат, а в иных государствах просвещенных вельможи не холопы, но советники», и живут там они «под свободами христианнейших королей и много пользы приносят державе...». А Иван отвечает: «Холопий своих мы вольны жаловать и казнить».

Он искренне не понимает князя. У подданных есть только одна свобода – повиноваться. И у царя есть свобода – повелевать, казнить и миловать.

Бегство Курбского завершило переворот в душе Ивана. Как всегда, он сумел заглушить в себе мучения, рожденные письмом вчерашнего друга, и оставил себе один желанный вывод: все бояре – изменники. Если лучший из них нарушил крестное целование – никому нет веры. Топор и меч – только эти лекарства излечат их бесовские души...

В конце 1564 года из ворот Кремля выехал целый поезд саней и возов. Объявлено было, что царь едет на богомолье, но прежде он «никогда так на богомолье не езживал»... Бесконечные сани везли царское имущество, казну, и главное – государственный архив. В царских санях сидел Иван со своей «черной женой». Мария Темрюковна пугала людей огненными глазами и смуглым лицом – рядом с белолицыми теремными боярынями она и впрямь казалась «эфиопкой». С ними ехали: ее брат, князь Михайло Темрюкович, дети Ивана, немногие приближенные к царю бояре и многочисленные служилые люди, дворяне, которым было велено взять с собой жен, детей, коней, оружие и слуг.

Среди отъезжавших были и новые любимцы царя, отец и сын – Алексей и Федор Басмановы. Алексей Басманов – воевода, не раз спасавший Русь от набегов крымских татар, уже

успел печально прославиться усердием царедворца – он исполнял теперь самые страшные поручения своего Государя. Его сын Федор стал первым любимцем у Ивана – без него царь «не мог ни веселиться на пирах, ни злодействовать». С Федором, как утверждали молва и летописцы, «царь предавался содомскому греху...».

Уезжали с царем и оскудевший князь Афанасий Вяземский, и мало кому тогда известный Григорий Вельский по прозвищу Малюта Скуратов (этот безродный человек никакого отношения к великому роду князей Вельских не имел). Малюте суждено будет стать символом страшного дела, ради которого и покидал царь Москву.

И его, и многих жалких вчера людишек готовился поставить Иван в задуманном им деле превыше «добрых и сильных». Им он верил, ибо ему они были всем обязаны.

Поезд из саней и возков, покинув Москву, выехал на ярославскую дорогу и после остановки в Коломенском прибыл в Троице-Сергиеву лавру. Царь долго молился, но потом, вместо ожидаемого возвращения в Москву, поехал далее...

Двигались неторопливо. Только через месяц пути царский поезд достиг старого охотничьего села московских Государей – Александровой слободы. Здесь царь и остановился. Отсюда отправил он в Москву сочиненные им в пути две грамоты.

Уже целый месяц в Москве не было от Государя никаких известий, когда пришли эти царские грамоты. Их зачитали, как и было велено царем, на площади – перед всем честным народом.

Будто продолжая свой спор с Курбским (или с самим собой?), Иван огласил в первой грамоте список измен князей и бояр, воевод и дьяков (министров), архимандритов и игуменов – на них он «положил свой царский гнев». Среди бесконечных, старательно перечисленных обвинений были страшные: в отравлении Анастасии, в том, что замыслили бояре убийство детей его...

Вторая грамота была к простым людям московским, где царь объявлял, что зла на них не держит, «ибо вин за вами нет никаких». А вот с изменниками-боярами он жить на Москве не желает, отчего и пришлось ему бросить «возлюбленный град» и уехать скитаться.

В страхе слушал простой народ царские грамоты. Бояре, которых должно было уважать, объявлялись изменниками. Но ужас был в том, что царь покинул их – народ лишился священного деспота, заступника перед Богом и угрозой нашествия иноземцев. Кто их защитит?

В Московском государстве людям, по словам историка, «легче было представить страну без народа, чем без царя». И народ в страхе требовал возвращения Государя. Иван все рассчитал точно...

К нему отправилась депутация священнослужителей. Долго молили вернуться, и наконец он сменил гнев на милость. Но с условием, чтобы духовенство более не чинило ему «претельных доук» – скучных запрещений карать изменников.

Согласились. Со всем согласились, только бы царь вернулся. Хотя и понимали, что согласились на великую кровь.

Вернувшись в Москву, Государь объявил невиданное: едва успевшее сложиться объединенное государство он делил вновь – на Земщину и Опричнину.

Опричнина – загадочное слово... Так на Руси называлась «вдовья доля». Ее положено было после смерти князя выделять его вдове.

Это была все та же любимая игра царя-актера: представиться униженным, чтобы потом восстать страшным и грозным. Сейчас он играл несчастного, гонимого изменниками-боярами, вынужденного просить в своем собственном государстве жалкую «вдовью долю» своей матери.

Однообразные царские игры... Впоследствии, решив казнить боярина Ивана Федорова, он заставит его надеть царские одежды, посадит на престол и, униженно кланяясь, скажет ему: «Видишь, ты на троне сидишь моем. Говорят, мечтал ты об этом, заговоры строил...» И грозно добавит: «В моей власти мечту твою исполнить – посадить тебя на трон... Но в моей власти и

снять тебя с трона!» Ударом ножа он повергнет несчастного с престола, и будет лежать великий боярин в луже крови – в царском одеянии, у подножия трона...

Вскоре в особом указе царь объявил: по всей стране лучшие земли отдавались ему, в его «вдовью долю» – Опричнину, а все остальные он оставлял боярской Думе – в Земщину. Делилась и столица: по одну сторону, к примеру, Никитской улицы начиналась Опричнина, а по другую – Земщина.

Так делилось не успевшее окрепнуть, великой кровью народной недавно объединенное государство. Вся страна – делилась! Из Опричнины изгонялись бояре и не взятые в опричники служилые люди. Им давались другие вотчины и поместья – в Земщине.

Опричнина – это жизнь без изменников-бояр, без «добрых и сильных». Недаром в письме Курбскому Иван грозил: «Найдутся вельможи у меня и опричь вас...»

Впоследствии историки увидят в этом главный смысл Опричнины – в изгнании бояр. Дескать, отбирая лучшие земли, изгоняя с них прежних владельцев на места пустынные и бедные, царь подорвал боярское землевладение, разорил потомков удельных князей и княжат... Но удивительная вещь – все оказалось совсем иначе! Александр Зимин и другие блестящие наши историки доказали: большинство ненавидимых царем князей и княжат «благополучно перешло в следующий, XVII век... богатыми землевладельцами!» А казни и конфискация земель коснулись лишь одной, но очень определенной группы знати – бояр и князей, связанных с удельным князем Владимиром Старицким.

Неужели Опричнина, это «странное учреждение», вся кровь, все разделение земли было задумано, чтобы посчитаться с безвластным, жалким князем Владимиром? Тогда Иван воистину «безумный мятежник в собственном государстве»! Но нет, не тот характер, и ум другой – пытливый, изощренный и страшный. Тут своя задумка была... И нелегко Опричнина далась царю – недаром по возвращении из Александровой слободы «неузнаваем стал». Все волосы потерял, будто нервное потрясение пережил – от тяжелого решения...

Избиение страны

Сделав Александрову слободу столицей Опричнины, царь вернулся в Москву. И начались обещанные казни...

Пошли на плаху знаменитый воевода князь Шуйский-Горбатый и его сын (царь полюбил казнить с потомством). На помосте отец и сын просили друг друга уступить место под топором – князь не хотел увидеть сына мертвым, и тот не желал смотреть на казнь отца.

Но эти первые казни в недалеком будущем покажутся истинным благодеянием! Скоро царь потребует «изыска в расправах» – и будут сжигать живьем, резать кожу на ремни, варить в кипятке... Много чего придумает для подданных изобретательный Государь всея Руси.

Создавая Опричнину, царь придумал для нее мрачные символы: к луке седла опричника привязаны были собачья голова и метла. Это значило – вынюхивать измену и мести ее вон из государства! И охранять царя от заговорщиков-бояр, как охраняет хозяина верный пес. Опричники стали и тайной полицией, и государевой охраной.

Просил царь сначала для себя в Опричнину «тысячу защитников против изменников», но набрал шесть тысяч. Отбирал со строгостью, чтобы, не дай Бог, не был связан опричник родовыми узами с Земщиной. А кто родство утаит, отправится на плаху, когда придет час казнить опричников...

Иностранные государства не должны были знать о начинавшейся крови, которую уготовил Государь своей истерзанной стране. На вопросы об Опричнине послы Ивана должны были отвечать, что ничего такого в их государстве нет, что все это «мужичьи бредни», а «мужичьим речам нечего верить». Но в опричниках служили и чужеземцы – авантюристами, искателями

кровавых приключений Иван не брезговал. Один из них, мерзавец и палач Генрих Штаден, с искренним восторгом расскажет изумленной Европе о своих подвигах.

Но в основном служили в Опричнине русские дворяне, удалые, неродовитые и бедные. Как известно, жаднее богатых – только бедные, так что сразу начался грабеж Земщины опричниками. И царь отлично знал, что он начнется, более того – желал его. Штаден писал о царском указе судьям: «Судите праведно, чтобы *наши* виноваты не были».

Грабеж опричники вели беззастенчиво и насмешливо – удалые были! Подсылали часто к купцу слугу, который подбрасывал какую-нибудь вещь или сам оставался с нею в лавке. И тогда опричник объявлял: мой слуга обокрал меня и бежал, а купец укрывает его и краденое имущество. За это забирали у купца все его добро – судили судьи «праведно», ибо выступить против опричников значило пойти против Государя (а точнее – на плаху).

Теперь любой опричник мог обвинить любого земского в том, что тот ему должен. И земский обязан был платить немедленно – иначе били его кнутом прилюдно на торговой площади, пока не заплатит...

Князь Курбский, играя словами («опричь» значит «кроме»), справедливо назвал Ивановых любимцев «кромешниками» – людьми из кромешной адовой тьмы. Адовым воинством.

Почему Иван поощрял это грабительское удалство? Резон был – хотел всем показать: наступило новое время. Ни заслуги прежние в боях за Отечество, ни знатность рода – ничто не спасет. Есть только одна защита — *служение Государю*...

И еще: с Опричниной Власть обрела главное свойство, делающее ее абсолютной, – Страх перед непредсказуемостью и тайной. Никто не знает, за какие вины придет в голову царю казнить... или миловать? Никто не понимает, зачем нужна эта таинственная Опричнина, кровь и зверства.

И что за странные дикие слухи ходят: говорят, будто царь стал монахом... Все ждут и дрожат – что-то еще будет?

Царь-актер придумал в Александровой слободе игру в «монастырскую братию». Ее составили самые близкие, любимые опричники, а царь был у них игуменом.

Особая была братия... В ней был, к примеру, красавец Федор Басманов, с которым, как писал Курбский, Иван «губил душу и тело» (то же писал в своих воспоминаниях опричник Генрих Штаден). Однажды на царском пиру князь Овчинин обличил Федора «за нечестное деяние, которое творит он с царем», – и тотчас пошел на плаху...

Как и положено братии, с солнцем вставали, в колокол звонили, в простых рясах ходили. Но под грубыми рясами скрывались расшитые драгоценными камнями кафтаны. Как когда-то у варяжской дружины его предков, был у царя с опричниками общий стол. Но эти «монастырские трапезы» походили более на безумные оргии.

Постоянно читал он «братии» вслух святые книги. Правда, прерывал порой чтение – отлучался в подземелье. Туда, в устроенные им пыточные камеры, привозили опальных людей, там пытали их отец и сын Басмановы, князь Вяземский – отцы Опричнины...

Вскоре они сами займут места в пыточных камерах.

Иванов «монастырь» в Александровой слободе, хотя и сильно перестроенный, дожил до наших дней. В подвалах его, по уверениям старожилов, до сих пор бродят призраки несчастных...

В эти подвалы и шел Иван поглядеть, что делают с опальными умелые палачи. И, как писал современник: «Радостный возвращался».

Но тот же современник расскажет, как истово молился грешный царь: лоб расшибал в молитвах, наросты на коленях нажил от долгих молений на каменных плитах. Деньги посылал в монастыри на помин душ, убиенных им, и «синодики» – списки с именами погубленных. Всех имен своих жертв назвать не мог, писал глухо и страшно: «А имена же ты их, Господи, веси...»

«Синодики» он рассылал потому, что боялся, ибо души, загубленные им без покаяния, могли мучить его на том свете... Но боялся он только того, *что убивал без покаяния...* А того, что *убивал*, совсем не боялся, ибо считал себя хозяином жизни подданных. Все, как писал Курбскому: «Холопий своих мы вольны жаловать и казнить».

В убийствах своих царь видел только исполнение задуманного трудного дела: создать великое послушание, покорное государство – через Кровь. Не так, как «Избранная Рада» советовала, долгими убеждениями, а революционно – швырнуть вперед, через столетия, страну, обессиленную казнями и страхом. Страну, беспрекословно послушную воле царя.

В 1563 году умер митрополит Макарий – человек выдающийся, великий книжник, начавший книгопечатание на Руси. Иван начинает искать ему подходящую замену и совершает шаг, с первого взгляда весьма странный: просит Филиппа Колычева, знаменитого игумена Соловецкого монастыря, стать митрополитом.

Филипп Колычев принадлежал к древнему боярскому роду, был известен своей праведной жизнью, и странно было приглашать его митрополитом среди вакханалии опричных убийств, тем более что на Руси хватало иерархов, готовых быть сговорчивыми и послушными. Сам Колычев долго отказывался – просил сначала отменить Опричнину, но царь уговорил его. Непонятно было царское упорство – хорошо знавший людей, он должен был теперь приготовиться к долгим «докукам» от нового митрополита.

Все так и случилось. Не выдержал Колычев обещания не вмешиваться в опричные дела, и начался его нескончаемый и опасный диалог с царем по поводу каждой боярской казни. И всякий раз, выслушав митрополита, царь с трудом сдерживал гнев, только хрипел: «Молчи, чернец!» Но как молчать? Коли митрополиту смолчать о невинной крови, возопиют камни! И Филипп не молчал.

В 1568 году – свершилось... В черной рясе, окруженный «братией», царь вошел в Успенский собор и привычно попросил у митрополита благословения. Но Филипп при всем народе отказал в благословении православному царю. «Потому как не узнаю, – сказал он, – Государя ни по одежде, ни по делам его».

Далее все шло так, как было заведено в дни Опричнины. На церковном Соборе послушные иерархи осудили митрополита за придуманную вину (особенно усердствовал новгородский владыка Пимен).

Колычев сам предложил царю сложить с себя сан митрополита. Но Иван слишком любил театр – он попросил Филиппа отслужить обедню в Успенском соборе. В разгар церковной службы опричники во главе с Басмановыми ворвались в собор, сорвали с Колычева облачение, одели в рваную рясу и увезли в дальний монастырь.

Царь повелел истребить весь род бояр Колычевых. Вдогонку мятежному Филиппу отправил он отрубленную голову его любимого племянника. И павший иерарх целовал и крестил голову юноши.

История с митрополитом Колычевым отнюдь не была странной ошибкой царя – наоборот, она полна глубокого смысла. Теперь уже всем стало ясно: заступничества не будет нигде, даже сам митрополит не сможет помочь ни людям, ни себе, ибо есть только один закон и одна воля – царская. «Холопий своих мы вольны жаловать и казнить...»

Люди вроде князя Репнина, который когда-то отказался надеть скоморошью маску, или смелого боярина, обличавшего содомские игрища Басманова с царем, уходили в прошлое. Наступало всеобщее Молчание...

Но Государь все испытывал свой народ: крепко ли Молчание, все ли бояться. И однажды опричники вошли в Москву и забрали молодых жен у людей знатных – бояр и дьяков. Теремных затворниц, которые, кроме супругов и слуг, мужчин в лицо не видели, увезли за Москву. Навстречу им двинулся царь с сыном из Александровой слободы. Началась оргия, которой мог бы позавидовать Нерон... Самых красивых насиловали сначала царь с сыном, потом отдавали

опричникам. После чего жен вернули. Как напишет Карамзин: «Вскоре умерли они от стыда и горести». Мужья скрежетали зубами, но молчали.

Все то же безумное Молчание...

А потом он принялся и за свою семью...

Среди Молчания гибель Владимира Старицкого прошла как-то незаметно. Недаром обстоятельства убийства источники излагают глухо и по-разному. По самой правдоподобной версии, позвал царь последнего удельного князя с женой и детьми в Александрову слободу. И здесь «Государь и брат их», усмехаясь, предложил им чашу с ядом: «Слыхал я, хотели вы меня отравить, а теперь вот сами пейте». И семья молча выпила чашу.

Жену своего покойного брата, монахиню Александру, которую за праведность звали «второй Анастасией», царь повелел умертвить. И другую его родственницу, старуху мать Владимира Старицкого, убили вместе с нею по приказу царя...

Государевы «испытания» не имели конца. Пришла очередь уже не людей, а целых городов...

Он выбрал Новгород – город, который основал его прародитель Рюрик («Пошел Рюрик к Ильмену и срубил город и назвал его Новгород») и где он был похоронен. Когда на месте Москвы еще непроходимые леса стояли, Новгород был уже великим городом. И не просто великим, а *Господином Великим Новгородом* — господином собственной судьбы, невиданной на Руси республикой, вольной и славной, существовавшей триста пятьдесят лет и пресеченной его дедом... Еще живы были люди, помнившие битвы с московским князем, и колокол на Софийском соборе гудел, напоминая о днях вольности. И много было в Новгороде сторонников Владимира Старицкого и князя Курбского. Не крепка была там власть царя, и он это знал. И решил укрепить ее проверенным способом...

Для похода на собственный город нужен был повод. Так появился донос о том, что Новгород «сносится с польским королем, и хочет от Московского государства отложиться, и еще хочет известить царя и посадить на царство князя Владимира Старицкого». Как можно сразу иметь эти весьма противоположные цели, уже никто не спрашивал. Царь добился своего – в смысл доносов уже не вникали.

Так появился первый повод к расправе. А уже после смерти Владимира Старицкого в Новгороде была найдена за иконой грамота к польскому королю. Как она туда попала, нам, живущим в XXI веке, объяснять не надо. Впрочем, это было понятно даже в XIX веке Карамзину...

Задумав великое избиение, царь захотел заручиться благословением святого человека и отправил к низложенному митрополиту Филиппу палача своего, Малюту Скуратова.

Как и все деспоты, Иван ценил зрелище человеческого падения, любил наблюдать, как простые низменные чувства – страх, тщеславие, жажда мести – движут людьми... Недаром он держал в опричниках родного брата убиенной жены Владимира Старицкого – Никиту Одоевского, и племянников убиенного, князей Петра и Семена Пронских, и дворецкого его, Андрея Хованского...

Радостно было наблюдать ему их жалкое рвение на службе у него – убийцы их родича и господина.

Посылая к Колычеву кровавого Малюту, царь очень рассчитывал на страх Филиппа и ненависть к предавшему его новгородскому владыке Пимену, который должен был пострадать в грядущем избиении. Но царь обманулся – Филипп отказался благословить будущую кровь, сказал: «Благословляют только на доброе дело».

И тогда Ивановы подданные получили очередной урок: Филипп был тотчас удушен спорым Малютой.

С великим опричным войском выступил Иван на Новгород. Начиная от Клина, он все превратил в пустыню, Тверь сжег дотла...

Новгород окружили. Сначала ограбили близлежащие монастыри. Монахов ставили на «правеж» – избивали до смерти, а тех, кто выжил, по дальним монастырям разослали. Потом «начал великий царь громить Новгород».

Бесстрашно потопил он в крови беззащитный город. По тысяче человек в день привозили на суд к нему и любимому сыну его, Ивану, который во всех злодеяниях был рядом с отцом. И судили они людей, и мучили их перед смертью. Сжигали заживо, секли и на кол сажали, в Волхове топили, а кто всплывал, тем опричники головы разбивали баграми.

По летописи, шестьдесят тысяч новгородцев истребил Государь. Истребляя, не забывал молиться: «А имена же ты их, Господи, веси...»

А потом он собрал жалкую кучку оставшихся в живых горожан, у которых отняли все имущество, и попросил их «молиться за державство наше... А что касается крови вашей, то пусть она взыщется с изменников».

И потянулись возы с награбленной добычей вслед за уходящим опричным войском. Генрих Штаден рассказывает: когда он в поход пошел, была у него одна лошадь, а вернулся он с двадцатью – запряженными в сани, наполненные добром. И как он добро это добывал, Штаден тоже поведал, не таясь: в богатый двор новгородской княгини заехал и хозяйке, в ужасе попытавшейся бежать от него, ловким броском всадил топор в спину. Потом, перешагнув через окровавленное тело, пошел «познакомиться с обитателями девичьей». Хорошо познакомился... Но от грабежа и любовных утех так утомился, что «не стало больше сил» насиловать и грабить, – ограничился двадцатью возами...

А новгородского владыку Пимена Государь пощадил, но по-своему – веселое представление устроил. Напялили опричники на владыку скоморошью маску и сыграли его свадьбу с... кобылой! И велел царь Пимену на той кобыле в Москву ехать, по дороге играя на дудке. И ведь поехал! Поехал владыка, выкупая позором жизнь...

Впереди был Псков. В городе молились и ждали расправы. Но казни и грабеж только начинались, когда город был спасен. Не жителями – они безропотно покорились подступившей банде головорезов во главе с собственным Государем. Город спас знаменитый псковский юродивый.

Царь захотел повидать его, и юродивый пришел с большим куском сырого мяса во рту. Иван смутился и спросил его: «Что ж ты мясо-то ешь, ведь нынче пост?» – «А ты еще хуже – человечье мясо в пост жрешь», – ответил юродивый. И испугался Государь всяя Руси. Никого не боялся – святого человека испугался. Ушел из Пскова...

Но в этом прекрасном летописном предании не вся правда. Царь понял: задача выполнена. Сама мысль о непокорности стала невозможна в опустошенных городах и душах. Теперь это были покорные рабы, которых осмелился защитить только юродивый.

Глядя на бесконечные возы с добычей, которые везли его опричники, и вспоминая грозные слова юродивого, понял царь, что превысил меру разбоя и крови. И тут же подумал об «ответчиках». Так всегда у тиранов: кто-то должен стать виновным за пролитую ими кровь...

И еще: при виде своих гордых, веселых опричников он понял: перед ним последние люди, которые чувствовали себя вольно на Руси, забывшие, что такое страх. Страх перед царем.

И тотчас по возвращении он им напомнил...

Сначала состоялись следствие и розыск в Александровой слободе, где главные опричники были обвинены в том, в чем до этого обвиняли других, – в измене Государю. Им, расправившимся с Новгородом и Псковом, было вменено... пособничество Пскову и Новгороду в желании «отложиться к польскому королю»! Таков был царский юмор.

Под умелыми пытками сознавались в этом бреде опричники, еще вчера умело пытавшие других, – князь Афанасий Вяземский, отец и сын Басмановы. Отцы Опричнины были беспощадно пытаны... опричниками.

Сотни плах были воздвигнуты в Москве, и сотни палачей встали у плах – Иванов «37-й год»... Виселицы выстроились вдоль всей кремлевской стены, но толпы не было, люди не пришли. Горожане затворились в домах, улицы опустели – Москва решила, что пришел ее черед, что царь задумал расправиться со своей столицей. Никто не шел на площадь, все в молчании и ужасе покорно ждали.

Но какое же царское представление без людей? Их согнали, и царь успокоил толпу: не на них, простых людей, его гнев, но на «добрых и сильных».

«Прав ли суд мой? Ответствуй, народ!» – вопрошал царь толпу. И народ привычно отвечал: «Прав ты во всем, Государь! Пусть погибнут изменники!»

Показалась процессия – вели первых осужденных. Но виселицы у кремлевской стены были не для них, о виселицах они могли только мечтать. Царь позаботился, чтобы казни опричников не уступали по изощренности казням их жертв. И несколько дней длились их мучения, за которыми наблюдали главные палачи – оба Ивана, отец и сын.

Перед расправой «вычитывали вины» осужденных. Дьяк Висковатый, верный слуга Ивана, ведавший царской внешней политикой, был обвинен в том, что служил он польскому королю и хотел, чтобы тот забрал Новгород и Псков, а еще в том, что служил крымскому хану и звал его грабить Русь, и еще в том, что служил Турции и хотел «отложить» к ней Казанское и Астраханское царства... «Многогрешный изменник» стоял теперь у столба, и за эти его «измены» опричники весело отрезали у него куски тела.

А Иван уже знал: завтра многие из этих весельчаков будут качаться на приготовленных виселицах...

Висковатого разделали, как тушу: подвесили на крюк и четвертовали. Затем на площади был водружен кипящий чан. Пришла очередь казначея Никиты Фуникова, женатого на родственнице вчерашнего главного опричника, Афанасия Вяземского. (Самого Вяземского уже замучили. Не было на площади и Басмановых. Погибли они страшно: царь, как всегда, захотел увидеть человеческую подлость и повелел Федору убить отца, и тот убил. Потом умертвили и вчерашнего царского любовника. Щедро царь от грехов своих избавлялся...)

Фуникова, которому царь не простил участия в «мятеже у царской постели», облили сначала кипятком, а потом холодной водой, и кожа с него сошла. Жену дьяка раздели и «возили по веревке», пока не умерла. А юную дочь царь отдал своему сыну – пусть позабавится! Грозный был государь... Но как сказал историк: «Он мог губить, но не мог уже изумлять». К самым страшным злодеяниям, к самым нелепым обвинениям люди давно привыкли. О справедливости, о ближних уже никто не думал, все хотели только одного – выжить.

Третий Рим

Он устроил удивительный пир для своих приближенных (точнее, для тех, кто еще оставался в живых). Как всегда, на роскошных его пирах, поражавших воображение иноземцев, на золоте и серебре подавали до сорока разных блюд – баранину, телятину, дичь, гусей, уток... Как всегда, гостей потчевали драгоценным виноградным вином, привезенным из-за границы.

Разносившие блюда столтники по обычаю говорили пировавшим: «Это царь посылает тебе». Получивший блюдо вставал и благодарил батюшку Государя. Так же обносили пировавших вином: «Жалует тебе царь эту чашу». И так же вставали гости и благодарили щедрого хозяина.

Но вина на том пиру было куда поболее обычного. Бесконечно жаловал в тот день Иван пировавших своей царской чашей, много часов подряд пили гости. Ибо царь в тот день ждал, когда развяжутся боярские языки, и велел список пьяных речей составить...

Составили. И оказалось, как пишет летописец: «Всяким глумлением глумились бояре, песни срамные распевали и срамные слова говорили...» Но ничего запретного так и не услышал царь. Ни от кого не услышал, хотя у каждого он казнил родственника или друга.

Речи были неразумные, но смиренные.

Итак, цель была достигнута. Третий Рим, о котором он мечтал, был построен. То, чего добивались его предки – покорность бояр и народа, – он сумел сделать абсолютным. Уже некому было противоречить царю.

Да он и не был уже просто царем. Он стал Богочеловеком – Иваном Грозным.

В этом – истинная цель Опричнины, а не в какой-то жалкой мести жалкому князю... Теперь ему принадлежало все. Огромная страна стала его вотчиной, в которой он распоряжался как истинный владелец. И законом здесь была только его воля.

Теперь он мог осуществлять любые реформы – и незамедлительно, а не так, как советовали ему жалкие советчики из «Избранной Рады». Когда-то он не смог заставить Стоглавый собор ограничить рост монастырского землевладения – теперь он сделал это мгновенно. В 1580 году он попросту запретил духовенству впредь покупать новые земли, и ни у кого даже мысли не было обсуждать царское решение.

А в следующем году он сделал еще один шаг к окончательному прикреплению крестьян к земле: ограничил их право уходить от одного владельца к другому в Юрьев день. Теперь многочисленный класс новых рабов трудился на его служилых людей. Мирно, без всякого ропота отдали крестьяне свою свободу грозному царю.

Безумное Молчание...

Богочеловек... В этом обличье он принимал иноземных послов. В огромной палате, расписанной библейскими сценами, на золотом возвышении стоял его трон. Образ Спасителя – справа, лик Богородицы – прямо над троном. Множество придворных в парчовых платьях, подбитых соболем, осыпанных драгоценными камнями, толпилось в палате...

И вдруг наступала тишина, будто дворец вымер. Недвижно стояла стража вокруг трона – в атласе и бархате, с золотыми цепями на груди. Сверкали, отражая множество свечей, топоры стражников.

Появлялся он – в золотом одеянии с бриллиантовыми пуговицами. На голове – священная шапка Мономаха. В руке – золотой посох.

Послы вручали грамоты, и тотчас по его знаку удалялись придворные, чтобы сменить облачения и явиться в зал белыми ангелами – в белых одеждах, опущенных горностаем. Они переодевались в царском гардеробе, там оставляли свои прежние роскошные наряды. Ибо все эти блестящие одежды принадлежали царю – как и жизни людей, их надевавших.

Он показывал англичанину Флетчеру свою сокровищницу. До смерти не мог забыть потрясенный иноземец горы жемчугов, изумрудов, сапфиров, рубинов, золотой и серебряной посуды... Там было все, что накопили бережливые предки Ивана, все, что отобрал он у казненных князей, все, что нагребил в Великом Новгороде, веками создававшим свое богатство...

Он был богатейшим Государем беднейших подданных.

Теперь он выезжал окруженный огромной свитой, на лошадях в великолепной драгоценной сбруе. Впереди скакали по трое князья и бояре. В охране царя было до полутысячи стрельцов. Все то же явление Богочеловека...

Ни одно дело теперь не решалось без него – он сам читал все челобитные и сам вершил суд. Хозяин земли и холопов... Так возникла Иванова страна, где еще во времена его отца, как писал путешественник барон Герберштейн, «рабство, несовместимое с духовным благородством, было всеобщим... ибо самые вельможи назывались холопами Государя». «Мы служим Государю не *по-вашему*», – сказал барону один из этих вельмож-холопов.

Раздумывая над самодержавием в России, Карамзин задавался вопросом: «Не знаю, свойство ли народа требовало для России таких самодержцев или самодержцы дали народу такое свойство?»

«И то, и другое. Ибо только абсолютное, Великое самодержавие способно создать Великую Россию». Так они ответили – сначала Иван, потом его Ученик всеми делами своими ответили!

Но абсолютная власть развращает абсолютно, и тиран обязательно заболевает последствиями тирании. Придумывая преступления, он постепенно сам начинает в них верить. Мания подозрительности – обязательная кара для тирана.

А существование Богочеловека непременно порождает болезненное одиночество...

Не прошло и года после массовых казней на Красной площади, как пришел на Русь крымский хан Девлет-Гирей. Царь выступил с опричным войском и... неожиданно бежал от хана, испугался дать сражение. Оставив Москву, он отвел войска в Коломну, оттуда в Александрову слободу и дальше – в Ярославль. Беззащитная Москва была брошена на произвол судьбы.

Так он боялся. Но не хана! Боялся изменников-бояр, которые могли выдать его хану. Поверил... В собственные басни поверил!

Хан подошел к Москве и зажег предместья. Много страшных пожаров знала Москва, но такого огня еще не было. Спасаясь, люди бросались в реку и там тонули. А когда пожар угас, некому было хоронить и оплакивать мертвых – не осталось жителей в великом городе.

Девлет-Гирей смотрел с Воробьевых гор на исчезавшую в огне Москву и понял, что делать ему здесь уже нечего. Города более не существовало. И хан вернулся в Крым, погнав туда тысячи русских пленников.

Из Крыма он отправил посольство в сожженную Москву. Он писал презрительно Ивану: «Я разграбил твою землю и сжег ее... Ты не пришел ее защитить, а еще хвалишься, что московский царь. Была бы у тебя храбрость или стыд, ты бы не прятался... Но я не хочу твоих богатств – верни мне Казань и Астрахань...»

В жалкой черной одежде встретил царь-актер послов. Долго объяснял им, что ничего у него не осталось: все татары сожгли и разграбили. Так он юродствовал, а потом предложил отдать одну Астрахань, чтоб хан посадил туда своего сына, но... чтоб рядом с ним сидел московский боярин. И дань хану предложил платить.

Послы оставили царю подарок – кинжал, чтобы он от нищеты и позора грядущей гибели закололся. Хан обещал опять прийти на Русь.

В то время Ивану должно было казаться, что тени ожили, – случилось все, о чем предупреждала «Избранная Рада». Швеция и Речь Посполитая стали его врагами. Война с Ливонией грозила закончиться бесславно – вести войну на два фронта он не мог...

В следующем году Девлет-Гирей вновь пошел на Москву. На этот раз Русь и царя спас воевода Михайло Воротынский – опальный, ненавистный ему гордый боярин. Много лет провел прославленный воин в темнице и ссылке, а теперь Иван вынужден был вручить ему судьбу страны. Не было у него выбора: все остальные знаменитые воеводы уже оставили свои головы на плахе.

Воротынский не обманул ожиданий: на подступах к Москве, у Подольска, встретил войско хана и разбил его. Хан дал второе сражение, но и оно окончилось кровавым поражением крымцев. Войско Девлет-Гирея перестало существовать. Сил повторять набеги у хана уже не было.

Как и положено тирану, Иван не простил Воротынскому его победы после жалкой своей трусости. Воеводу обвинят в измене и подвергнут любимым царским пыткам – долго будут держать тучного боярина над горящими углями, потом убьют...

А Москву быстро отстроили. Умирали от голода и непосильной работы, но отстроили. Ибо так велел пресветлый Государь Иоанн Васильевич.

Царь-актер не забывает про игру: через несколько лет после того, как крымский хан сжег Москву, Иван вновь разделил государство. Теперь в Земщину он назначил... царя!

И царем этим стал... татарин! Безвластный касимовский хан Симеон Бекбулатович, которого короновали в Успенском соборе!

Целый год, к изумлению будущих историков, Иван упоенно играл в эту загадочную игру. Он писал униженные челобитные Симеону, величал его «Великим князем всея Руси», а себя лишь «Великим князем Московским». Симеон сидел на золотом троне, а царь занимал на лавке место боярина...

Но это не было мазохистским безумием. Это было политическое шоу, полное смысла. Клянясь этому жалкому татарскому хану, он как бы напоминал Руси, кто освободил ее от татарского ига, кто завоевал Казань и Астрахань, кто превратил некогда грозных ханов в жалкое посмешище, предмет для царских игр.

В следующем году игра наскучила, и царь убрал с трона ничтожного Симеона. Его дело было сделано: он напомнил о великих подвигах Ивана.

Разразилась катастрофа в Ливонии. После смерти Сигизмунда сейм избрал королем Стефана Батория – венгерского рыцаря, великого воина. Баторий нанес сокрушительные поражения ослабленной террором царя русской армии. Вскоре вся Ливония была покинута Ивановым войском.

Баторий пришел на Русь, осадил Полоцк. Царь с войском стоял недалеко от города, но (в который раз!) уклонился от боя. Полоцк пал.

Был осажден и Псков, но горожане героически оборонялись и не сдали город...

Начались трудные переговоры о мире. Баторий хотел получить уже не только Ливонию, но и русские города.

Враждующие стороны обменивались саркастическими письмами. Иван сообщал Баторию, что он, природный Государь, получил свой трон в наследство от прародителей, соизволением Божиим, а не «хотением многомятежной толпы». Так презрительно намекал он на избрание Батория королем. Но его противник тоже был силен в сарказмах – отвечал Ивану, что негоже тому гордиться и забывать, что он сын дочери польского перебежчика, изменника.

Так они и препирались. Иван корил Батория: дескать, вместо того чтобы договориться, он продолжает проливать кровь христиан. А Баторий отвечал ему, что знает способ немедленно прекратить войну: пусть сойдутся они с Иваном один на один в битве рыцарской, кто выиграет – тот и победит. Иван на вызов не ответил.

Наконец заключили мир. Доблесть защитников Пскова спасла русские города, но всю Ливонию, когда-то им завоеванную, Иван потерял.

Мир со Швецией был еще унижительней: Иван лишился почти всего побережья Финского залива, земель, принадлежавших Великому Новгороду. Таковы были плоды кровавого самовластия, уничтожившего славных воевод. Слабость грабительского, развращенного опричного войска была доказана.

Личную жизнь царя после смерти Анастасии отражают его собственные слова из послания в Кирилло-Белозерский монастырь: «Горе мне, окаянному!.. Горе мне, грешному! В пьянстве, блуде и прелюбодействе живу...» Так с упоением, но без всякого преувеличения клеймил себя царь.

Но «не согрешишь – не покаешься», и все продолжалось... В преданиях Александровой слободы остались и необычные воспоминания о голых девах, в которых опричная «братия» стреляла из луков, и рассказы о более привычном применении голых дев. Если сопоставить все это с предыдущей его жизнью, то царь имел право хвастаться англичанину Горсею, что он «растлил тысячу дев».

В 1569 году умерла опостылевшая Мария Темрюковна, с которой царь перед ее смертью сильно ссорился. Не болела – и вдруг умерла. И почему-то вослед за ней был торопливо казнен ее брат... Царь, естественно, обвинил бояр в отравлении жены.

В октябре 1571 года он женился на Марфе Собакиной из коломенских богатых вотчинников, но уже через три недели она умерла. Царь поспешно объявил, что она была очень больна, хотя и было это невероятно – царскую невесту осматривал опытный лекарь.

В четвертый раз жениться он не мог по церковному уставу, но иерархам пришлось смириться – наложили на царя епитимью и позволили... Уже в апреле 1572 года он женился на Анне Колтовской. Не прошло и полугода, как красавицу отправили в монастырь.

В 1575 году пятая жена, Анна Васильчикова, умерла всего лишь через год после свадьбы, и женолюбивый царь стал опять свободен. В шестой раз (уже без венчания) он взял в жены вдову дьяка Василису Мелентьеву. Ее он вскоре постриг в монахини, так как заметил «смотрящую на Ивана Девтелева, князя, которого и казнил». Василиса приняла эстафету смерти от предыдущих жен – вскоре умерла.

В седьмой раз неутомимый царь женился на Марии Нагой. Дружками на свадьбе были Борис Годунов и Василий Шуйский – будущие герои Смутного времени. Так призрак грядущей Смуты появился во дворце...

Под конец жизни он превратился в развалину. Антрополог Герасимов, изучивший его скелет, нашел мощные солевые отложения на позвоночнике царя, которые должны были причинять ему острейшие боли, вызывая приступы ярости. Дурные болезни, постоянное обжорство и пьянство на пирах, неподвижность (он уже не мог садиться на коня) его доконали. Это был старик, которого порой даже носили. Но все еще страшный, кровавый старик...

Бесконечно меняя русских жен, Иван не уставал мечтать о династическом браке. После неудачного сватовства к польской принцессе решил он попытать счастья с принцессой шведской. Все та же мечта – породниться для союза в ливонской войне.

Он захотел жениться... на жене находившегося в тюрьме шведского принца Юхана, вел переговоры с посадившим его туда королем Эриком. В Стокгольме на смотрины уже отправились русские послы, но в это время, к его сожалению, принц Юхан не только вышел из темницы, но и сам сел на трон, свергнув Эрика. Так что пришлось Ивановым посланцам объясняться с новым королем, заявлять, что невинного их Государя ввели в обман...

Пытался он породниться и с английской династией.

Все началось с попыток англичан захватить торговлю с Россией. В Лондоне была основана Московская компания, и, хотя несколько ее судов погибли (два потонули у берегов Шотландии и два – в Белом море), торговля началась.

Царь решил использовать этот великий торговый интерес англичан. Обожавший писать Иван начал забрасывать посланиями-предложениями английскую королеву Елизавету: «Отныне Англия и Русь должны быть во всех делах заодно». Он предложил заключить договор: королева должна запретить своему народу торговать с его врагами – поляками, позволить выехать в Московию корабельным мастерам «и везти им с собой на Русь пушки и оружие». И еще был примечательный пункт договора: «Если кто-нибудь, Иван или Елизавета, по несчастью своему вынужден будет оставить свою землю, то может жить в государстве другого без страха опасности, пока беда минует и Бог переменит его дела...»

Это был все тот же параноический страх возмездия...

Из Англии на Русь и прибыли двое, которым было суждено обратить на себя внимание грозного царя.

Один из них – некто Елисей Бомель (так его называли в Москве). На самом деле это был вестфалец Бомелиус, изучавший медицину в Кембридже и занимавшийся астрологией, да столь успешно, что лондонский архиепископ отправил его в тюрьму как чернокнижника. Откуда и забрал его на Русь Иванов посол, знавший любовь Государя к колдунам.

В Ивановом дворце астролог Елисей развернулся. Он готовил яды, которые избавляли Ивана от лишних казней (и, видимо, от некоторых из жен). Он стал царским любимцем и советчиком, его боялись и ненавидели... Но знавший толк в делах небесных вестфалец не понимал, как опасна любовь владык земных. В очередной раз муки царской совести потребовали жертвы – нужно было найти очередного виновника несправедливых казней... Во всем был обвинен Бомелиус – и в том, что изводил людей ядами, и в том, что «волхвованием внушал царю убивать добрый народ»...

Летописец писал: «Был Елисей у него в приближение любимцем... хотел отвлечь царя от православной веры... науськивал на убийство родов княжеских и боярских...» и колдовски внушал боголюбивому царю «бежать в Английскую землю, а остальных бояр побить».

И любимец царя Бомелиус был сожжен.

Другой пришелец из Англии был куда удачливей. Его звали Энтони Дженкинсон, и был он агентом Московской компании – одним из тех англичан, которые впоследствии завоюют для своей страны целый мир.

Европа, Африка, Русь – таковы маршруты путешествий этого неугомонного человека. Из Московии направился он в Азию: Бухара, Самарканд... Он принимал участие в сражениях, много раз был на волосок от гибели, но оставался жив. На сотнях верблюдов, без охраны, вез свои товары, разорялся и вновь обретал богатство. Только такую жизнь он ценил... В Лондоне он появился с черноволосой красавицей, которую представил дочерью хана и подарил королеве Елизавете.

Этого человека и выбрал Иван посредником в деликатном поручении. Елизавете шел уже четвертый десяток (она была тремя годами моложе Ивана), но могущественная правительница была не замужем... Не желая попасть впросак, гордый царь на этот раз решил избежать переписки и выяснить перспективы брачного союза через Дженкинсона.

Елизавета привыкла умело отказывать искателям ее руки. Она сообщила очередному претенденту, что решила остаться девственницей, ибо обручена со своей нацией. Пеликан, вырывающий из собственной груди куски мяса, чтобы накормить голодных птенцов, – вот символ ее жизни во имя своего народа... Логику королевы, любившей говорить подданным: «Может быть, у вас будет государь куда более выдающийся, но никогда не будет более любящего», – вряд ли возможно было понять Ивану, распоряжавшемуся жизнью и смертью своих подданных по собственному усмотрению.

От «королевиного отказа» Иван пришел в обычную ярость и отправил послание, где постарался объяснить ей, кого она отвергла! Он – природный Государь, владеющий людьми, как холопами, а «твои бояре с моим послом все о торговых делах говорили... неужели мимо тебя твои люди государством владеют?» – саркастически спрашивал царь и заканчивал письмо знаменитой фразой: «И ты пребываешь в своем девическом чину как есть пошлая (обыкновенная. – Э.Р.) девица». В этом обличении позднего девичества королевы звучала наивная злоба отвергнутого жениха.

Обиженный царь нанес ответный удар – все привилегии у английских купцов были отобраны. «Московское государство... и без английских товаров не скудно было», – писал Елизавете царь.

Умная королева могла только с улыбкой читать эти оскорбления – она уже поняла яростный характер царя-деспота. Но Иван думал о себе, ей же надо было думать об английской торговле и о прибылях «возлюбленного Отечества». И вскоре Иван получил миролюбивое письмо, где она писала: «Никакие купцы не управляют нашими делами, а мы сами о них печемся». И, умеряя Иванову спесь, сообщала, как непросто ей дружить с московским царем: «Многие государи писали к нам, прося прекратить с вами дружбу, но никакие письма не могли побудить нас к исполнению их просьбы».

В качестве доказательства дружбы королева послала в Москву своего медика Роберта Якоби, а также аптекарей и цирюльников, которые должны были пекся о драгоценном здоровье царя. С медиком Иван тотчас завел любимый разговор: нет ли для него в Англии подходящей невесты – вдовы или девицы, родственницы Елизаветы?

И Якоби легкомысленно назвал имя племянницы королевы – Марии Гастингс...

Иван тотчас всполошился и повелел Афанасию Нагому, родному брату своей жены (!), подробно расспросить о возможной невесте, после чего в Лондон был немедленно отправлен на смотрины царский посол Федор Писемский. Он должен был привезти портрет невесты и подробно сообщить, в меру ли она дородна, бела ли... Послу были даны инструкции: если скажут, что Государь уже женат, отвечать, что взял он в жены дворянскую дочь *не по царскому своему положению*. И если племянница королевы достаточно дородна и «великого дела достойна», то объявить, что Государь жену свою оставит и возьмет в жены Марию Гастингс.

Елизавета, наслышанная о любовных подвигах Ивана, решила спасти племянницу. Она сказала послу: «Я слышала, что Государь любит красивых, моя же племянница некрасива... Кроме того, девица лежала в оспе, и нельзя с нее писать портрет, ибо больна она сейчас...»

Писемский согласился ждать, пока Мария выздоровеет.

Елизавета задала ехидный вопрос: «Правда ли, что жена Государя, как мы слышали, родила сына?» (Мария Нагая действительно родила – царевича Дмитрия.)

Писемский ответил по инструкции: «Вздорным речам не верьте».

Посла попытались отвлечь охотой и всякими соблазнами, но он был непреклонен – он должен был увидеть невесту и привезти портрет, ибо знал, чем кончается неисполнение царских желаний. Королеве пришлось показать Марию упрямому русскому. «Высока, тонка лицом, глаза серые, волосы русые», – в восторге отписал Писемский Ивану.

Но Елизавета решила закончить комедию. Вместе с Писемским, увозившим желанный портрет, в Москву был отправлен английский посол – объяснить жениху, что Мария его недостойна, что она «очень больна по грехам ее, да и в вере своей не согласна перемениться» и потому не может принять ни православия, ни предложения царя...

Великая трагедия вскоре заслонила матримониальные заботы. Иван убил собственного сына. Страшнее возмездия быть не могло.

Рассказ о том, как Иван в порыве гнева смертельным ударом посоха сразил любимого сына, – легенда. Иван не просто убил – он *убивал*... Боярин Борис Годунов, который пытался вмешаться, был весь изранен, а сам царевич несколько дней болел после зверского избиения и только потом умер. Вскрытие могилы это подтвердило: череп молодого Ивана был так разбит, что восстановить лицо оказалось не под силу Герасимову.

Это зверское избиение опровергает известную версию, будто убийство случилось из-за пустячной ссоры: царь сделал замечание жене Ивана за неподобающий туалет, сын вступился, а отец в припадке ярости ударил его... Чтобы так убивать, нужны были серьезные мотивы.

Впрочем, из того глухого времени дошли до нас иные версии – о них писали современники. Постоянный маниакальный страх, владевший деспотом, заставил его подозревать даже сына. Царя пугало, что сын так похож на него, что смеет он осуждать сдачу Полоцка и даже хочет возглавить войска в Ливонии. Он уже носил в тайниках души ужасную мысль: его сын замышляет против него... И оттого ничтожный повод – ссора из-за жены – вызвал бешеный гнев.

Кровь покорно умирающего сына вернула несчастного царя к реальности: его безумие оставило страну без наследника. Младший сын Дмитрий лежал в колыбели, а на трон после него теперь должен был сесть второй сын Федор – жалкий карлик с «семейным» крючковатым носом...

Теперь он видел убитого сына во сне, просыпался с мыслью о нем, кричал и плакал. Таково было Божье наказание.

Он объявил, что править более не хочет и пострижется в монахи. Но наученные прошлыми играми царя-актера бояре ему не поверили. Умные придворные дружно кричали: «Нет, нет – хотим тебя царем!» И он остался...

На закате жизни, в 1583 году, ему удалось услышать и радостное: он сумел пережить своего врага – Курбский умер за год до его смерти. Князь Андрей жил в большой печали в Польше. Женился, но радости все не было: он тосковал по Руси... Как сказал польский поэт: «Родина – как здоровье: когда она есть, ее не ценишь».

В том же году отряды казаков под водительством атаманов Ермака Тимофеевича и Ивана Кольцо заняли столицу сибирского хана Кучума. К Московскому царству присоединилась Сибирь. Он пожаловал Ермаку дорогую броню с золотым орлом, но будто проклят был царский подарок – в этой тяжелой броне и утонул Ермак Тимофеевич...

В 1584 году пришла смерть за Иваном. Он вдруг весь распух, и внутренности у него начали гнить. Но и на смертном одре он продолжал свое актерство, эти «карамазовские» выходы... Недаром Достоевский так внимательно читал историю грозного царя.

Накануне его смерти жалкий и очень добрый сын Федор послал жену свою утешить отца на смертном одре. И летописец расскажет: «Она в ужасе бежала от царского сладострастия». Как хохотал Иван, представляя постное лицо сына-святоши, которого он жалел... и ненавидел.

В это время над Москвой появилась комета – вечная предвестница смерти кесарей. И он понял: умрет. Но все цеплялся за горестную свою жизнь. Во дворец были собраны астрологи, но и они предсказали смерть Государя.

Однако 17 марта наступило облегчение. Он принял ванну и сел за шахматную доску с верным Богданом Вельским. Царь уже подумывал о казни лжецов-астрологов, когда внезапно его настиг удар...

Митрополит свершил последний обряд над потерявшим сознание Иваном. Согласно его же желанию, грешный царь был пострижен в монахи.

Его тело облекли в одежды схимника. В мир иной Иоанн Грозный отошел смиренным монахом Ионой.

Но даже видя царя бездыханным, бояре все медлили объявить о его смерти. Боялись: а вдруг это очередное испытание, придуманное царем, вдруг он снова «обрадует» их своим воскрешением? И начнется расправа...

Он был Грозным и после смерти.

Были и иные слухи: будто царь был отравлен уставшими от его злодейств боярами. Вскрытие гроба не подтвердило, но и не опровергло версию убийства. В останках царя было сильно повышено содержание ртути, но это могло быть результатом приема лекарств против дурной болезни, от которой, возможно, и сгнил грешный царь...

Ученик

В 1953 году, также в марте, умер тот, кто написал о нем: «Учитель».

Недаром написал Сталин это слово. Он странно повторил судьбу деспота. Так же, как у Ивана, у Сталина умерла любимая жена. Так же, как Иван, он возложил ее гибель на «кремлевских бояр». Только Иван был убежден, что жену извели ядами, Сталин же верил, что враги его отравили сознание жены клеветой на мужа, довели до самоубийства...

Так же, как Иван после смерти жены, он задумал великую расправу с «боярами», чтобы так же, на страхе и крови, создать Державу. Ибо, как и Иван, он верил: только абсолютное самодержавие должно править его народом. И, как Иван, Сталин поставил уничтожение врагов на самообслуживание – одни убивали других, чтобы вскоре самим разделить их участь.

И тактику игр Учителя-актера он применял – и часто. В первые дни войны, когда его войска откатывались к столице и он испугался бунта соратников, Сталин, как Иван накануне

Опричнины, вдруг исчез из Москвы – чтобы его «бояре» поняли, как они беспомощны без «царя», и сами пришли на поклон, и просили его вернуться. И они пришли, просили, умоляли...

И так же, как Иван, незадолго до смерти, в дни последнего для него съезда партии он попросил отставку. И так же перепуганные соратники, «осознавая смертельную опасность», единодушно кричали: «Нет! Нет! Просим остаться!»

И так же, как Иван, он чувствовал перед смертью параноический страх и безумное одиночество. «Даже чаю выпить не с кем», – сказал он о себе...

Сталин как будто и вправду был неким перевоплощением страшного царя. Умирая, он загадочно поднял руку, будто «погрозил всем нам», как напишет его дочь Светлана. И рука Ивана Грозного при вскрытии его гроба оказалась таинственно поднята вверх. Герасимов считал, что это была часть погребального обряда, исчезнувшего во тьме веков и, возможно, что-то означавшего...

И так же вскоре после смерти Сталина начались слухи – те же, что после смерти его Учителя: убили...

Накануне потопа

Когда Иван умер, он оставил великую бескрайнюю державу. Оставил он и нищее закабаленное крестьянство – как всегда на Руси, мужик и земля заплатили за все его войны.

Это была мощная деспотия: Страх и Повиновение царили внутри великой державы.

Но уже вскоре великое его государство потонет в Смуте.

Впрочем, англичанин Флетчер, вновь приехавший на Русь сразу после смерти Ивана и заставший там еще могучее государство, отчего-то предрекал, что непременно возникнет здесь вскоре гражданский пожар. И Курбский в одном из писем царю писал: «И обогранный христианской кровью, погибнет весь дом твой».

И мудрейший Авраамий Палицын, келарь Троице-Сергиева монастыря, раздумывая о причинах падения великого государства, обращался ко временам Ивана. В его правлении отыскал он причину, породившую Смуту: «Безумное молчание людей, не смеющих глаголити истину своим царям...»

И дьяк Иван Тимофеев и князь Катырев-Ростовский в Ивановы времена глядели, ища корни Смутного времени.

«Мучитель» – так звали они царя Иоанна Васильевича.

Кстати, и грозный Ученик грозного царя, говоря о причинах Смуты, обращался к царствованию Учителя: Сталин считал, что его любимый царь «не дорезал до конца» мятежных бояр...

Дорезал! До того дорезал, до того довел Иван свою «селекцию топором», что остались вокруг трона одни жалкие молчаливники, способные лишь к подковерной борьбе, забывшие навсегда, что такое достоинство, могущие лишь угодничать и предавать, предавать...

И наследники эти доведут страну до такого срама, такое разрушение государства устроят, что страшные Ивановы времена покажутся людям благодетельными. И уже в XVII веке кровавого царя будут звать «Благочестивым, Храбрым» и почтительно – «Грозным».

Но история, как говорил русский писатель, «памятливей людей». История запомнит – «Мучитель»...

Тайна Иоаннова сына

«Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваши погибнете».
(Первая книга Царств, 12. 25)

*«И как было во дни Ноя...
ели, пили, женились,
выходили замуж до того дня,
как... пришел потоп и погубил всех».*
(Евангелие от Луки, 1726—27)

Умирая, царь Иоанн Васильевич оставил царство сыну своему Федору.

Понимал он, что немощный сын не в силах будет один удержать царский венец, и оставил он при нем могучих советчиков: родного брата его матери Никиту Романовича Юрьева (еще один шаг к престолу сделал род Романовых), шурина Федора, боярина Бориса Годунова, и первого в Думе по знатности рода князя Ивана Мстиславского. Просил помогать сыну и доблестного защитника Пскова – князя Ивана Шуйского, одного из немногих Шуйских, которых не уничтожил казнями и не изгнал опалами.

Другому сыну, Дмитрию, двухлетнему младенцу, он назначил в удел богатый город Углич и поручил последнему своему любимцу, Богдану Вельскому, охранять жизнь сына. Понимал грозный царь, что должно было случиться с царственным младенцем...

Уже в ночь после смерти Ивана началось шатание умов – кому присягать. Иные бояре вместе с Вельским заговорили о немощах убогого Федора и предложили целовать крест малолетнему Дмитрию. Но назначенные усопшим царем советчики Федора – «начальственнейшие бояре» – авторитетом своим ночной мятеж легко подавили и уже утром приставили стражу к вдовствующей царице Марии Нагой и ее младенцу. А потом из ворот кремлевских выехало множество саней, охраняемых стрельцами, – Марию с братьями и Дмитрием отправили в удел их, в Углич. Так что церемония целования креста Федору прошла с малыми происшествиями...

В отличие от отца и убитого им брата Ивана, новый царь «наружность имел не царственную». По сравнению с Грозным короткий и тучный Федор казался нелепым карликом. На уродливом теле торчала крупная голова с ястребиным носом Палеологов и слюнявым ртом – в постоянной, не к месту радостной улыбке. Он трудно передвигался, «скорбел ножками», как писал летописец, и страдал одышкой... И когда, волоча ноги, дыша с хриплым свистом, жалко улыбаясь, в нелепо сидящих на нем золотых одеждах и венце на трясущейся голове появлялся он в Думе, бояре старались опустить головы.

Впрочем, в Думе нового царя видели редко...

Детство несчастного Федора прошло в Александровой слободе – между кровавыми пытками, буйными пирами опричников и страстными отцовскими молитвами. На его глазах отец убил старшего брата и потом бродил бессонными ночами по дворцу... И в этой «карамазовской» семейке произошло то, что описано в великом романе: Федор вырос глубоко религиозным человеком и, говоря словами современника, «подходил более для пещеры и кельи, чем для трона».

Он просыпался в четыре часа утра. В опочивальню входил духовник с крестом для целования, и с этой минуты начиналась ежедневная непрерывная молитвенная жизнь царя: вносили икону святого, которого праздновали в тот день, царь становился на утреннюю молитву, потом шел поздороваться с возлюбленной супругой... Звонили к обедне. Отстояв службу, он шел к трапезе, а затем следовал знаменитый полуденный сон, в который погружалось все Московское государство. Сон этот был обязательным для людей благонамеренных и религиозных... После

– время идти к вечерне. Царь переходил в Благовещенский собор, соединенный с дворцом, стоял службу и усердно молился, окруженный ближайшими боярами, а там и ночь наступала, и молитва на сон грядущий...

«Начальственнейшие», стоявшие с ним в церкви, много думали о царских ночах, ибо Федор, женатый на красавице сестре Бориса Годунова, был пока бездетен. Это означало, что единственным наследником трона оставался сосланный ими в Углич младенец Дмитрий...

К делам государственным Федор никакого отношения иметь не хотел.

Нет, он не был слабоумным. У него просто был другой ум – ум юродивых, этих странных святых Древней Руси. Как-то, разговаривая со своим шурином, Борисом Годуновым, Федор вдруг сказал ему: «Когда *это* случится, тогда ты поймешь, что все суета и миг единый».

Через много лет, когда «это» случилось – Годунов стал царем, – он понял, о чем говорил Федор...

Летописи приписывали Федору пророчества. Когда хан напал на Москву и люди в ужасе наблюдали со стен Кремля за готовившимися к битве татарами, он оставался совершенно равнодушным и вдруг сказал: «Завтра ни одного татарина здесь не будет». Так и случилось – хан сам ушел от московских стен.

Но царство безвластного царя обещало великие сражения за власть между «начальственнейшими», ибо сразу составились две партии.

Партия «новых людей» была наследством преобразований времен Ивана. В нее входили бояре, заслужившие свое положение не знатностью рода, но милостями умершего грозного царя. Главным из них стал царский шурин Борис Годунов.

В Разрядной избе заботливо велись родословные: предки Годунова происходили по младшей линии от татарского мурзы, перешедшего в начале XVI века на службу к московскому князю и принявшего православие. Сам Годунов делал карьеру стремительно. С юности преуспевший в дворцовых интригах, он вовремя породнился с самым страшным человеком в царском дворце, Малютой Скуратовым, – женился на его дочери.

И другой брак обеспечил Годунову великое влияние – незадолго до смерти царя Ивана сестра Бориса, Ирина, набожная красавица «с голосом нежным, как свирель», вышла замуж за наследника московского трона Федора. Теперь Годунов стал неотлучным человеком в царских палатах.

Он с юности понял, что при дворе Грозного ум состоял в том, чтобы его не показывать, – надо было лишь выказывать исполнительность и преданность. Годунову выпала страшная честь – закрывать своим телом сына царя, когда Иван убивал его посохом, после чего Бориса долго не видели во дворце – оправлялся от полученных тяжелых ран. Услужливые бояре полагали, что царь вряд ли будет милостив к свидетелю своего зверства, и поторопились сделать донос на Бориса. Но великий царедворец Годунов рассчитал верно: царь в неминуемом раскаянии еще более приблизил его...

Предками Годунова был основан Ипатьевский монастырь в Костроме, откуда придет на царство династия Романовых. Сами Романовы, московские бояре, также пришедшие во власть лишь во времена Ивана Грозного, примыкали к партии «новых людей». Но самый могущественный из них, Никита Романович, дядя царя Федора, скончался уже в начале его царствования. Перед смертью он взял крестное целование у Бориса – опекать его семью, после чего многочисленные Романовы примкнули к Годунову. Так он возглавил партию «новых людей».

Входил в нее и Богдан Бельский – тоже родственник Малюты и, следовательно, Бориса. Личность знаменательная: бесстрашный, невиданной силы богатырь, участвовавший во многих кровавых битвах минувшего царствования. В последние годы жизни Ивана «неотлучный хранитель» царя Бельский даже ночевал в царской опочивальне. Мятежный и необузданный, он стал «заводчиком», когда бояре пытались устроить мятеж в пользу малолетнего Дмитрия. Но Годунову легко удалось образумить строптивого родственника: Дмитрию, сыну седьмой

жены Ивана (великий грех перед церковью), нельзя править, коли Бог и царь дали им в Государе старшего в роде – Федора. Им ли, холопам, мешать изволению царскому и промыслу Божию? И Богдан Бельский в Углич с Нагими не отправился, но остался в Москве с Годуновым, предоставив младенца Дмитрия неминуемой его участи...

На Вельского и начала свое наступление другая партия – «добрых и сильных», как называл их князь Курбский, потомков властителей великих княжеств, завоеванных Москвой. Первым по знатности рода здесь был князь Иван Мстиславский, возглавлявший боярскую Думу, но он был уже стар, любил покой. Тон в партии задавали князья Шуйские – «старейшая братия» среди потомков Рюриковичей, так что главой «добрых и сильных» стал прославившийся под Псковом воевода Иван Петрович Шуйский. В партию входили и потомки прославленных в русской истории боярских и княжеских родов: Головины, Колычевы, Голицыны...

Наметив жертву, подготовили бунт. Двадцать тысяч горожан подступили к Кремлю и потребовали выдать Вельского, который «умертвил царя Ивана, а теперь хочет извести царя Федора». Годунов вступил в переговоры с разъяренной чернью. «Сладкоречивый муж», как назвал его летописец, смог уговорить толпу согласиться на высылку Вельского и разойтись.

Вельского отправили наместником в Новгород-Северский. Борис потерял сторонника, но в долгу не остался. Уже вскоре он слезно попросил защиты у царя и сестры, показал донос – дескать, на пиру у князя Ивана Мстиславского задумали его, Годунова, убить. Федор, не желавший омрачать гневом покой души, отдал расследование в руки самого Годунова, и знатнейший боярин Мстиславский был пострижен в дальний монастырь, где и умер.

Шуйские тотчас приготовили достойный ответ. Митрополит московский Дионисий, великий книжник, конечно же, был на стороне «старины». Шуйские уговорили его действовать – вместе с богачейскими московскими купцами и высшим духовенством явиться во дворец и передать царю «моление народное». В нем говорилось, как обеспокоен народ, что у царя нет потомства и грозит пресечься на престоле великая Рюрикова династия. Оттого и молят люди Федора сослать неплодную супругу в монастырь, как поступил дед его Василий с бесчадной Соломониной, а в жены взять молодую боярышню – внучку погибавшего в ссылке Ивана Мстиславского.

Так они придумали избавиться от сестры Годунова. Но у Бориса уже была целая армия доносчиков, и о заговорах он узнавал вовремя. Ему удалось усовестить митрополита разумными доводами: Ирина-де «находится в годах цветущих» и вполне может еще родить наследника.

Утихомилив митрополита, Борис тотчас сообщил царю, как его задумали разлучить с любимой женой. Вечно улыбающийся Федор в первый раз в жизни пришел в гнев – он обожал Ирину. Дионисий понял, что проиграл, и поспешил во дворец – покаяться пред царем, и Федор его простил.

Но царь не посмеет возражать Годунову, когда тот распорядится прогнать Дионисия с митрополичьего престола и заменить на ростовского иерарха Иова. Так у Годунова появится могущественный сторонник, всем ему обязанный, которому не раз придется доказывать в грозных обстоятельствах свою верность.

Главных заговорщиков, Шуйских, тогда не тронули, и показалось им, что пронесло. Они не знали Бориса...

Страдавший от всех этих ссор Федор потребовал мира меж «начальственнейшими», и Годунов с готовностью поцеловал крест – обещал забыть прежние обиды, не мстить Шуйским... И тут же потерявшие осторожность Шуйские получили от Бориса смертельный удар: их слуга составил нужный донос, и достойный зять Малюты Скуратова немедленно отправил прославленного воеводу в темницу. Там Иван Петрович Шуйский, знатнейший боярин, национальный герой, был попросту задушен. Естественно, было объявлено, что злополучный князь

«в раскаянии от вин своих» сам удавился... Удавлен был и двоюродный брат его Андрей Шуйский, внук того самого Шуйского, которого когда-то убили псары молодого Ивана Грозного.

Итак, все кончилось обычным финалом – из всех «начальственнейших» остался один Годунов.

Ему было чуть за тридцать, когда он фактически стал неограниченным властителем при беспомощном царе. Впоследствии Федор дал ему беспрецедентный сан Правителя (и это при живом, находящемся в зрелых годах Государе!). Постановлениями боярской Думы, рабски подчинявшейся всецелому временщику, Годунов получил право сноситься с иностранными государями, подписывать указы и грамоты...

Впрочем, успехи Правителя были неоспоримы. После казней и войн Ивана, при жалком его сыне, Московия впервые наслаждалась покоем. Из темниц были выпущены уцелевшие жертвы Грозного, топор и плаха после расправ с Шуйскими отдыхали. Везло Годунову и в делах военных – великий воин Баторий, создавший самую мощную армию в Европе и готовившийся после смерти Грозного напасть на Московию, внезапно умер. Так удалось без крови покончить со смертельной угрозой – недаром Карамзин писал: «Если бы жизнь и гений Батория не угасли, то слава России могла померкнуть уже в первом десятилетии нового века».

Более того, теперь Годунов мог рассчитывать на польскую корону для Федора – вечно мятежный Сейм ценил слабых королей, при которых ясновельможные паны могли оставаться независимыми. Недаром был слух, что великого Батория они попросту отравили... Годунов, зная эти настроения, уже считал дело решенным... и поскардничал. Русские посланники прибыли на Сейм с пустыми руками, и корону паны вручили тому, кто смог дать большие деньги. Королем стал шведский принц Сигизмунд.

С новым королем Сигизмундом Третьим Годунову удалось заключить выгодный мир. Польский посланец Лев Сапега, канцлер литовский, после многих препирательств подписал двадцатилетнее перемирие с Московией.

Во время заключения мира и было положено начало тому, что в дальнейшем станет причиной гибели Бориса. Возненавидев Годунова, переигравшего его по всем статьям мирного договора, Сапега встретился в Москве с остатками партии родовитых московских вельмож.

В этих разговорах, вероятно, и родилась некая опасная идея...

Удачными и, главное, кратковременными были войны Годунова. После двух походов в Швецию ему удалось отвоевать несколько городков, потерянных Грозным, и заключить выгодный мир. И очередное нашествие крымского хана закончилось бесславным бегством татар и брошенными обозами с богатой добычей. Во всем ему было счастье: Грузия, теснимая врагами, предалась под власть и защиту московского царя, и без того безграничная Московия пришла и на Кавказ.

Годунов добился и великого триумфа – на Руси появился первый патриарх.

После падения Царьграда, еще при прадеде Федора, Иване Третьем, вместе с идеей вселенской миссии Москвы – третьего Рима – возникла и мечта о русском патриаршестве, о «патриаршем великом чине».

Патриаршество в Московии не только подтвердило бы великий авторитет русской церкви в православном мире. Оно должно было положить конец вечным попыткам константинопольских патриархов вмешиваться в дела русских епархий, назначать митрополитов.

Впрочем, все трения между спесивым Константинополем и фактически автокефальной церковью Руси сглаживались щедрыми дарами, которые привозили нищим восточным патриархам послы Государства Московского. Когда Иван Четвертый стал первым Государем всея Руси, константинопольский патриарх тотчас написал ему, что его венчание, совершенное митрополитом Макарием, «некрепко», ибо по закону венчать на царство мог только он, патриарх. Спор привычно разрешился отправкой в Константинополь архимандрита Феодорита с бога-

тейшими дарами из царской сокровищницы. Феодорит вернулся с грамотой – Ивану «зваться царем и Государем православных христиан всей Вселенной... законно и благочестно».

Но Годунов знал, что отсутствие патриарха на церемонии венчания московских царей порождает печальные размышления у людей образованных, помнивших, что византийских владык благословлял на царство патриарх. И, раздумывая о будущем, правитель понимал, как важен будет на Руси свой патриарх, коли придется благословлять на царство *новую династию*...

И вот – словно Божий подарок – впервые за всю историю русской церкви в Московию прибыл один из восточных патриархов – Иоаким Антиохийский.

Годунов обставил его приезд великими почестями. В золотых царских санях волоком (был конец июля) Иоакима привезли в Кремль. В роскошной Подписной палате его принял царь Федор, окруженный боярами. Нищего патриарха, терпевшего на родине унижения от завоевателей-турок, осыпали дарами.

Начались переговоры Иоакима с правителем – «ближним боярином, конюшим и воеводой, наместником Казанским и Астраханским» – о введении патриаршества на Руси.

Но бывший тогда митрополитом московским враг Годунова Дионисий понимал, что в случае успеха переговоров патриаршества ему не видать. И всеми силами старался оттолкнуть Иоакима – «никакого привета патриарху не делал». Когда же патриарха привели в Успенский собор, Дионисий, окруженный синклитом в сверкавших золотом парчовых ризах, первым благословил оторопевшего Иоакима, который лишь сказал печально: «Негоже это... митрополиту следовало от меня благословение получить...»

Годунов, следуя традиции, «подсластил пилюлю» богатыми подношениями. Иоаким отбыл на родину, обещав правителю посоветоваться с остальными Святейшими о патриаршестве в Московском государстве.

А потом в Московию прибыл сам патриарх константинопольский Иеремия. Его встречал (уже с великим почетом) новый, поставленный Годуновым митрополит Иов.

И – свершилось! Сумел Годунов уговорить Иеремию!

26 января 1598 года в седьмом часу утра начался колокольный благовест по всей Москве.

Посреди Успенского собора на возвышении были поставлены три сиденья. На позолоченном, обитом лазоревым бархатом, сидел царь Федор, справа от него – патриарх константинопольский Иеремия, а третий стул, пока свободный, ждал первого русского патриарха Иова.

Иов стоял у помоста, где был изображен орел с раскинутыми крылами и горели двенадцать свечей в золотых подсвечниках. Иеремия благословил новоявленного патриарха: «Благодать Пресвятого Духа нашим смирением имеет тебя патриархом богоспасаемого и царствующего града Москвы и всей великой Руси...»

А потом был пир в царских палатах. Сам царь вышел встречать патриархов в сени и принял от них благословение. Греки были поражены «богатой трапезой, где все до единого сосуды на столе были золотые». И певчие в драгоценных одеяниях пели духовные стихи...

В мае греки с почетом уезжали из Москвы, увозя множество даров – золотые и серебряные кубки, меха, парчу и украшенную драгоценными камнями митру. Иеремия оставил свою подпись на «Уложенной грамоте» об учреждении патриаршества на Руси.

Борису и его сторонникам, участвовавшим в переговорах с Иеремией, казалось тогда, что умом, хитростью и богатыми дарами добились они выгоды в делах своих. И только потом, когда патриаршество окажется последней силой, к которой обратится власть, пытаясь удержать государство, низвергающееся в Смуту, поймут люди промысел Божий, давший стране великую духовную опору накануне гибельных потрясений...

Успешный и всевластный правитель, Годунов позволял себе быть милостивым. Когда-то он отправил в ссылку двух братьев погубленного им Андрея Шуйского – Василия и Дмитрия. Василию шел уже пятый десяток, был он малорослый, подслеповатый, незаметный на фоне блестящих Шуйских, сгинувших в темницах. Годунов, зная холопий характер бояр, их вечную

готовность поменять опалу на угодливую службу вчерашнему обидчику, вернул этого жалкого человека в Москву, тем более что женат Василий был на княгине Репниной – родственнице Романовых, которых Борис по-прежнему числил в своих союзниках. (Дмитрия Годунов женил на своей родственнице и дал ему сан боярина.)

Василий со всем пылом начал прислуживать Годунову и был назначен воеводой в Новгород... Не понял замороженный собственными успехами Борис характер незаметного боярина, не знал, какой ад был в душе Василия, какая ненависть к выскочке, погубившему их семью, заставившему прислуживать потомков Рюрика ему, безродному боярину. Забыл Борис главное правило грозного царя Ивана: врага можно простить, но сначала его надо убить.

Не понял он и Романовых, которые после смерти Никиты Романовича считали себя обиженными, несправедливо отодвинутыми от власти забывшим крестное целование Борисом...

До 1591 года его правление протекало безоблачно и благодатно. Но неумолимая угроза должна была терзать всемогущего правителя, ибо топор уже висел над ним...

Федор по-прежнему был бездетен, а между тем царевич Дмитрий подрастал в Угличе. В Москву к Годунову приходило множество доносов: как семилетний отрок по наущению родственников своих, Нагих, хвастается, что, когда царем будет, по заслугам расправится с теми, кто выслал их в Углич. И достойный сын Ивана Грозного показывал, как расправится: вылепил из снега людей и, раздав им имена тех, кто сослал его семью, беспощадно порубил их саблями...

В то время «начальственнейшие», отправившие Нагих в ссылку, уже гнили на кладбищах или сами были сосланы. Оставался один Годунов. Он должен был стать первой жертвой, если умрет бездетным Федор... А надежд на рождение ребенка от слабосильного царя становилось все меньше, так что у Годунова оставались две возможности: ждать, когда Федор умрет, и самому принять смерть от руки мальчика или начать действовать. Тем более что честолюбивого Бориса должна была греть мысль: если Федор умрет бездетным, а Дмитрия к тому времени уже не будет, престол станет свободным. Свободным для достойнейшего... А кто может поспорить с ним?

Мог ли этот деятельнейший человек не избрать второй путь? Что же касается жестокости, то у человека, сформировавшегося при дворе царя-убийцы Ивана, зятя палача Малюты Скуратова, государственного деятеля, столько раз беспощадно расправлявшегося со всеми соперниками, были свои представления о зле.

Вот почему англичанин Флетчер, побывавший в Москве в дни царствования Федора, с такой легкостью предсказал: «Дмитрий будет убит». Флетчер понимал неотвратимость его судьбы, ибо в те жестокие времена мальчик был обречен на гибель и на Руси, и в Англии, и во Франции – где бы он ни родился. Дмитрий не мог жить, ибо одним своим дыханием угрожал сильным мира сего.

В мае 1591 года из Углича пришло ожидаемое страшное известие – погиб царевич Дмитрий. По слухам, дело обстояло так: убийство задумали приказные люди, присланные Годуновым наблюдать за хозяйством Нагих: дьяк Михайло Битяговский с сыном, его племянник Никита Качалов, а также сын няньки царевича Осип Волохов.

В тот майский день нянька Василиса Волохова, несмотря на противление кормилицы Ирины Ждановой, повела Дмитрия во двор. Убийцы ждали их. Волохов попросил царевича показать ему новое ожерелье и, когда мальчик поднял голову, ударил его в горло ножом. Но рана оказалась легкой – Дмитрий упал, нянька бросилась ему на грудь, закрыла его и стала кричать. Волохов побежал прочь в страхе, но Битяговский-сын и Качалов оторвали Василису от мальчика и зарезали царевича.

Было время священного в Московии послеобеденного сна. Родственники царицы почивали, но сторож церкви Спаса увидел все с колокольни и ударил в набат. Собравшаяся на звон колокола толпа бросилась на убийц. Все они были растерзаны – Битяговский, и с ним еще 11 человек...

Таковы были слухи из Углича. А во всполошившейся Москве все недруги Бориса, пересказывая эту историю, твердили в один голос: он убийца! И тогда Годунов сделал беспримысленный ход – отрядил в Углич следственную комиссию. Вместе с митрополитом Геласием и окольным Андреем Клешиным он включил в ее состав того, кто должен был казаться беспристрастнейшим в глазах Москвы, – князя Василия Шуйского, брата злейших своих врагов. Теперь стало понятно, зачем Борис возвратил его из ссылки...

В Историко-архивном институте я изучал следственное дело, которое привез в Москву из Углича Василий Шуйский. По делу выходило, что царевича Дмитрия зарезал... сам царевич Дмитрий!

Как объявил князь Шуйский, у Дмитрия была падучая болезнь, которой он занемог как раз накануне происшествия. «В субботу после обедни вышел он гулять во двор с нянькой, кормилицей и товарищами... и начал играть с ними в тычку (в ножички. – Э.Р.)... и в припадке черного недуга сам проткнул себе горло ножом, долго бился о землю и скончался... Узнав о несчастье, царица прибежала и начала бить няньку, твердя, что его зарезали Данило Битяговский со товарищи, из которых никого здесь не было». Но царица и пьяный брат ее Михаил Нагой велели умертвить их, и собравшаяся толпа их послушалась...

Следствие добилось того, что все, видевшие происшествие своими глазами – мальчики, нянька и кормилица, – дружно подтвердили невероятный оборот дела: сам себя зарезал... Только Михаил Нагой, объявленный следствием пьяным, упорно твердил об убийстве.

На совещаниях Думы и Священного собора во главе с патриархом Иовом выводы следствия были признаны правильными. Нагие были обвинены в подстрекательстве к мятежу и убийстве приказных людей и отправлены в ссылку. Вдовствующая царица Мария, мать Дмитрия, была пострижена в дальний монастырь и стала монахиней Марфой. Разослали по ссылкам и мятежных угличан, претерпел даже... колокол, в который ударил сторож! Подстрекателю-колоколу вырвали «язык», оторвали «уши» и выслали его из Углича в Тобольск.

Однако более коварного заключения Шуйский привезти не мог. Годунов, конечно же, ожидал, что тот сумеет найти «козла отпущения», не связанного с Годуновым, ибо убийство не может быть без убийцы. Мысль о том, что мальчик зарезал сам себя, выглядела дикой в глазах народа и неминуемо должна была породить единственно возможный вывод: это Годунов послал убийц, это он зарезал...

Таков был подарок князя. Но Годунов не сумел оценить опасность «пороховой бочки», он продолжал верить в свое могущество, уже сулившее ему царство.

Между тем по возвращении князя Василия Ивановича в Москву стало ходить множество слухов. Рассказывали о широкой ране на теле Дмитрия, которую ребенок никак не мог нанести себе сам. Так что, видимо, хитроумный князь оглашал одно, а шептал совсем другое...

В то время Москву в очередной раз постиг страшный пожар. Множество людей осталось без крова, но правитель помог горожанам отстроить дома заново. И тотчас возник слух – город поджег Годунов, чтобы отвлечь умы от убийства невинного отрока.

Очередное нашествие крымского хана закончилось позорным бегством татар. И снова слух: сам Годунов позвал хана, чтобы народ забыл о Дмитрии.

Его дочь, красавица Ксения, готовилась выйти замуж за датского принца. Мечта Ивана Грозного породниться с европейскими дворами уже становилась явью, когда внезапно умер жених... И новый, уже безумный слух: Годунов сам убил жениха собственной дочери.

У царя Федора наконец-то родилась дочь. И сразу же слух: родился сын, которого Борис подменил девочкой. Когда же дочь Федора умерла, естественно, появляется слух: Годунов извел ее.

Смута начиналась в людских умах... Получавший доносы об этих слухах Годунов должен был понять: без тайных боярских денег, без постоянного подстрекательства – такого не бывает. Значит, есть враги, которые все время действуют... Но, освобожденный от страха перед

Дмитрием и зачарованный своим могуществом, правитель чувствовал себя неуязвимым. А это опасное чувство...

7 января 1598 года в час пополудни в своей опочивальне скончался царь Федор. Уже в наше время при исследовании его останков обнаружат повышенное содержание ртути. Возможно, всесильному боярину надоело ждать...

Умер не просто очередной Государь – умер последний из Рюриковичей на московском престоле. Вместе с ним в могилу сошла великая династия, основавшая Московию. «Порвалась цепь времен...» Люди не знали, как теперь жить без Хозяина, кто защитит их, кто посмеет взять землю, принадлежащую московским Государям.

Смута в умах нарастала. Все понимали: на царство придет Борис. И должны были бы радоваться, ибо правление его при Федоре было благодатным в сравнении с ужасным прошлым. Но люди страшились – Годунов не только не был родовитым боярином, за ним не только не стояло мистическое «природное» право на царство, но он был еще и убийцей. «Природный» царь мог убивать и убийцей при этом не быть – ведь царь был Богом. Когда Иван Васильевич сажал на кол боярина, то, умирая в жестоких мучениях, тот не забывал славить и желать благоденствия мучителю, потому что наказание царя – Божье наказание (даже когда он убивает собственного сына). С кровавой помощью Ивана Грозного страна навсегда усвоила его закон: «Холопий своих мы вольны жаловать и казнить».

В глазах народа Годунов был не просто убийцей, но самым грешным из убийц, ибо руки его были обагрены священной кровью «природного» царевича. И оттого его приход к власти должен был навлечь неминуемый гнев Божий на Московское царство. Недаром один из трех участников Угличской следственной комиссии Андрей Клешнин тотчас после избрания Годунова постригся в монастырь – стал схимником...

Вот о чем шептались люди. Так что перед Годуновым стояла почти невыполнимая задача. Но он был великим правителем и все продумал лучшим образом.

В Московском царстве не было никакого закона о престолонаследии, что вполне соответствовало принципам Богоцарей. Единственным законом для них была их собственная воля. Иван Третий сформулировал это так: «Мне обычай не важен. Кому хочу, тому и отдам *свое* царство...»

Согласно воле умершего Федора, которую объявил патриарх Иов, престол передавался его вдове Ирине. Это было понятно народу. И люди целовали ей крест.

Так свершился первый этап задуманного Борисом: на трон села его сестра. Теперь возникало какое-то подобие преемственности – от Годуновой престол мог перейти к Годунову...

На девятый день Ирина отказалась от трона – ушла в монастырь. Не переставая рыдать после смерти Федора, она твердила: «Я царица бесчадная, я погубила корень царский».

Страной пока правят боярская Дума и патриарх Иов, всем обязанный Годунову и отлично понимающий: лучше Бориса правителя стране сейчас не найти. Дума тоже на стороне Бориса – бояре знают, какой дождь царских милостей посыплется на них после его избрания...

Сам же Годунов пока затворяется с безутешной сестрой в Новодевичьем монастыре, предоставив патриарху и Думе сыграть второй акт представления под названием «Моление о царе».

Иов и Дума собирают Земский собор. Другие кандидатуры на царство, вроде призрака Ивановых забав татарина Симеона Бекбулатовича, кажутся просто смешными по сравнению с мудрым правителем Годуновым. И Земский собор единогласно постановляет: призвать Бориса на царство.

Он неумолимо отказывается от царского венца: «Испуган я сиянием священной и великой власти... Не думайте, чтоб я даже помыслил о такой превысочайшей степени – быть великим и праведным царем...» И это не только игра. В его душе тоже – страх и смута. Он не чувствует «права на царство» и хочет, чтобы его просили не раз и крепко.

Впереди – апофеоз задуманного им представления.

Начинается великое моление народа о царе. Из кремлевских соборов вынесены священные иконы, не раз спасавшие Русь. Впереди процессии идет патриарх, за ним – высшее духовенство, следом – могущественные дьяки, за ними идут войска, за войсками – народ московский. Все движутся к Новодевичьему монастырю – молить, звать Бориса на царство. По знаку патриарха начинается «план неслыханный» – люди, вопя, падают на землю, женщины бросают детей своих оземь – согласись, жестокосердный!

Патриарх и бояре входят в келью вдовствующей царицы – в священных одеждах, с образами. Стоя на коленях, они умоляют ее отдать брата – заставить его сесть на трон.

И только тогда он решается на финал. Ирина объявляет: «Ради Бога... ради святых чудотворных образов, ради вопля вашего рыдательного... отдаю вам своего единокровного брата. Да будет он вам Государем».

Представление окончилось.

Правда, остались и глухие известия о том, что творилось за его кулисами. Сначала «добрые и сильные» просили Бориса согласиться с ограничениями его власти и целовать на том крест. Но он ловко уклонился. Что же касается народного «вопля рыдательного», то, как писал современник: «Народ неволею был пригнан, а не желающих идти велено было приставам бить без милости. Пристава же понуждали их громко кричать и слезы лить...»

Так Годунов стал царем Борисом. Но в сознании народном он все равно «не по чину взял». Общество было воспитано московскими царями в великом неуважении к собственному мнению и в великом уважении к «природным правам» и оттого не могло признать прав избранного им самим царя.

В сознании людей Московского царства царь выборный – «царь с маленькой буквы», не «природный», не настоящий. Об этом писал еще царь Иван польскому королю Баторию...

Так он явился – первый самозванец. Это был Земским собором и московским народом поставленный на царство Борис Федорович Годунов.

Смута началась.

При вступлении на престол в порыве чувств у Бориса вырвались слова, невозможные для «природного» царя: «Отче великий патриарх! Клянусь, что в моем царстве не будет ни бедного, ни нищего!» И, рванув на груди вышитую сорочку, царь прокричал: «Последнюю рубашку разделю со всеми!»

Слова эти люди слушали с великим смущением, ибо приучены были к иному: «природный» царь должен не отдавать – забирать последнюю рубашку у подданных...

Он обезумел от счастья – вчерашний потомок жалкого рода, а ныне владетель величайшего царства.

Благотельное правление Бориса продолжалось и в его царствование. Правда, голод был, но когда же не было голода в хлебной нашей стране? Даже в XX веке – и при последнем царе, и при большевиках – будет голод и вымрут миллионы...

Тогда же, в начале века XVII, голод случился, невиданный даже на Руси. Как расскажет летописец, родители пожирали детей, на рынках продавалось человеческое мясо, и люди боялись останавливаться на постоянных дворах – пропадали. Годунов раздавал деньги и даровой хлеб москвичам, но кончилось это драмой: толпы народа пришли в Москву со всех голодных областей. Войско защищало столицу от обезумевших людей...

И все-таки голод победили. Но народ говорил: «Нет счастья с царем Иродом». А когда вдруг умерла вдовствующая царица Ирина, народ повторил: «Это он... царь Ирод!»

А Борис все пытался устроить справедливое царство: строгостью и казнями начал бороться со взяточниками. Засылал в приказы тайных агентов, и те доносили о взятках. Виновных беспощадно наказывали кнутом, забирали имущество...

Но это была его ошибка. Взятничество – не порок, но суть азиатской государственной системы. Еще восхищенный Генрих Штаден записал самую частую присказку людей в тогдашних приказах: «Рука руку моет» – круговая порука связывала приказных. И наступление на «святая святых» русского чиновничества вызвало лишь озлобление главной опоры Бориса – приказных людей, а взяточничество, естественно, процветало по-прежнему. Просто придумывали новые способы передачи денег – совали на Пасху вместе с крашеными яйцами или оставляли за иконами...

Борис воевал и с беспорядком – он ненавидел «всякое шатание», инстинктивно чувствуя великую угрозу со стороны Вольности. Он запретил метания нищих безземельных пахарей, пользующихся последней отдушиной – уходить от владельцев земель в Юрьев день. Еще в 1592 году он окончательно отменил это вековое право, и крестьяне стали собственностью хозяев земли. Теперь у них, прикрепленных к земле, оставалось последнее – бежать в степь, пополняя ряды вольных людей... И все чаще в грамотах писалось: такой-то «в бегах збрел».

Русская степь – бескрайняя, сухая, жаркая трава, где только скифские истуканы и остовы лошадей... Здесь, на границах, по берегам рек Волги, Дона, Днепра, Терека обитали казаки. В тюркских языках слово это означало «вольный искатель приключений, бродяга».

Казаками были обретшие свободу, бежавшие от хозяев вчерашние холопы и крестьяне, а также люди, нарушившие закон. Они добровольно несли сторожевую службу на границах Московии. Их атаманы наезжали в Москву – сообщали царям о передвижениях в степях татарских войск. Они гордо звали себя не «холопами царя», как все население Московии, но «вольными казаками», служившими царю за «землю и воду». Не имея возможности смирить казаков, прежние власти «жаловали» их – посылали деньги, свинец, порох, вино и продовольствие.

Но Годунов начал борьбу с этой вольницей. Казацкой охране границ предпочел он укрепленные крепости, которые и начал возводить на окраинах Московии. Он запретил пускать казаков в приграничные города – велел ловить и сажать их, преследовал тех, кто посылал казакам «жалование». Так в борьбе с русским беспорядком формировал Борис армию своих ненавистников.

Но главными врагами оставались затаившиеся знатные бояре. Он знал, что они ненавидят его, но считал: пусть ненавидят, лишь бы боялись.

Он начал приглашать в страну иностранцев, отправил учиться за границу русских юношей (правда, никто из них оттуда не вернулся). Его послы появились при французском дворе, пугая и восхищая парижан азиатскими одеждами и высокими шапками.

Внешние дела по-прежнему шли хорошо. Два самых опасных соседа – Польша и Швеция – вступили в войну за шведское наследство, ибо у польского короля Сигизмунда Третьего, являвшегося и наследным шведским принцем, отнял принадлежащий ему престол его дядя, Карл Десятый. И Борис наблюдал, как изнуряли друг друга в кровавых сражениях вчерашние враги Московии.

В Сибири он продолжил великие завоевания, остановившиеся было после гибели Ермака. Азиатская Скифия – бескрайние сибирские леса и равнины – стала частью Московии. Теперь не доскакать до границ его царства...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.